

ВАГА ВЕЛЬСКАЯ

---

# Хроника Лёлькиных аллюзий



Вага Вельская

**Хроника Лёлькиных аллюзий**

«Издательские решения»

**Вельская В.**

Хроника Лёлькиных аллюзий / В. Вельская — «Издательские решения»,

ISBN 978-5-44-905603-0

Героиня романа — Лёлька, петербурженка постбальзаковского возраста. Всё, как у всех — школьные годы, но мучительные, престижное замужество, но легковесное, метание по институтам, проблемы с сыном, призывником эпохи афганской войны, воспитание внучки. В линейность сюжета врываются сцены настоящего бытия. Реалистические события и воспоминания дополняются яркими снами, психологически точно характеризующими характер героини.

ISBN 978-5-44-905603-0

© Вельская В.  
© Издательские решения

## Содержание

I		6
	ПОД НАРКОЗОМ	10
	ПОСЛЕ НАРКОЗА	12
	~	13
	~	17
	КВАРТИРА – ЖИВОЕ СУЩЕСТВО	19
	СТАЛИНСКИЙ ДОМ	21
	В СЕМЬЕ БЫЛА ПАНИКА	23
	ЖИЗНЬ НА СТРЕМЯННОЙ	25
	ЧЁРНОЕ СВЕРКАЮЩЕЕ ПИАНИНО	29
II		30
	~	34
	СОН О ШКОЛЕ	35
	ДОРОГА В ШКОЛУ И ИЗ ШКОЛЫ	37
	ЖУТКИЕ СТРАХИ ОТОШЛИ В СТОРОНУ	40
	ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ДАР	43
	НАШЛОСЬ И ЕЙ МЕСТЕЧКО	46
III		48
	К ЗАМУЖЕСТВУ	56
	~	57
	ДИСТАНЦИОННЫЕ ВЛЮБЛЁННОСТИ	60
	ПОБЕДНЫЙ БРАК	62
	ПОБЕДИТЕЛЕЙ НЕ БЫВАЕТ	63
	КАК НА ВОЙНЕ	66
	КОММУНАЛЬНЫЕ СОВЕТСКИЕ ЛОМБАРДЫ	67
	ПРОТЕЧКА С ДЫРОЙ НА ЧЕРДАК	68
	ВСЯ ЖИЗНЬ СОСТОИТ ИЗ МЕЛОЧЕЙ!	72
	РАДИОКОМИТЕТ	73
	ОБИДЫ СМЫВАЛИСЬ	78
	СОКРОВЕННАЯ РЕАЛЬНОСТЬ	81
	Конец ознакомительного фрагмента.	82

# **Хроника Лёлькиных аллюзий**

**Вага Вельская**

*Корректор* Варвара Алексеевна Богородицкая

© Вага Вельская, 2018

ISBN 978-5-4490-5603-0

Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero

## I

Лёля ещё с молодых лет твёрдо усвоила, что возникающее из ниоткуда предчувствие никогда её не обманывает. И если оно прозвенело отдалённым тонким колокольчиком, то жди его громовые раскаты или в скором времени, или в неведомом будущем. Предчувствие сродни интуиции безраздельно властвовало у неё в каких-то глубоких телесных лабиринтах, на уровне солнечного сплетения, охватывая цепкими острыми коготками внутренности мягкого беззащитного живота, рождая мгновенные неожиданные озарения, толкающие к импульсивным действиям по мимо её воли.

Объяснить вразумительно свои поступки, диктуемые предчувствием, она не могла. Особенно – мужу, который внушал ей смолоду, что она дура, ничего не смыслит в жизни и живёт не по её разумным правилам. Но стоило ей не подчиниться интуиции, приложить умственные усилия: выгадывая, выкраивая, предполагая, вычисляя и слагая свой искусственный алгоритм действий, – как она получала обратный эффект. Безрезультативный тупик неразрешённых проблем приводил к раздражающему бессилию, а главное – со временем первоначальная правота спонтанных установок, диктуемых, возникающей в животе острыми хваткообразными спазмами, интуицией побеждала, но с опозданием.

К этому открытию своего природного дара Лёля пришла не сразу, а обретя счастливый и горький жизненный опыт прожитых лет, давно переваливших за неприличное число, непроносимое женщинами вслух, а главное – сознательно не замечаемое и не ощущаемое вовсе. Лёля уже не сомневалась, что все события жизни она будто заглатывала в себя, как пищу, которая в зависимости от качества, успокаивала или терзала её изнутри, разъедая нутро стрессовыми ситуациями. И даже выпадавшие на её долю радости, вызывали чувствительные рези в животе и лёгкие головокружения.

Отбросив на время все дела и мысли об окружающих её родных и неродных людях, поняв, что тянуть дальше невозможно и чревато для жизни, она решительно отправилась к врачу, чтобы в кратчайшие сроки определиться с имеющимися в запасе жизненными ресурсами, остановить нарастающие желудочные недомогания, которые измотали её в конце некомфортными унижительными симптомами и растущим тревожным предчувствием.

Лёля сдала анализы и, получив направления от врача на эзофагогастродуоденоскопию и видеокOLONOSKOPIЮ, стала пробиваться на исследования.

В Мариинской больнице, куда её направили, таких женщин, как она, – с полисами обязательного медицинского страхования – оказалось много. Из справочного окошечка ей рявкнули:

– Запись – один раз в месяц и только по телефону, сроки проведения – не ранее шести месяцев, если пройдёте консультацию у нашего врача.

– Зачем консультация, если мой врач уже дал направление? – спросила удивлённая Лёля.

– Не устраивает – платите двадцать тысяч, и возьмём хоть завтра на трое суток, – крикнули из окошечка.

– А зачем на трое суток? Я могу хорошо подготовиться сама, – опешила Лёля.

За спиной послышался недовольный ропот очереди, и она ушла.

В указанный день, просидев на телефоне полдня, она всё же дозвонилась и записалась на предварительную консультацию к хирургу Мариинской больницы. Через месяц, явившись по записи, она увидела толпу из одних женщин бальзаковского возраста, к которым она себя по наивности ещё причисляла с учётом новой трактовки сдвинутого времени двадцать первого века. Глядя на этих, как ей показалось, до боли знакомых городских женщин, она поняла, что не одна она глотала и переваривала преподнесённые судьбой на тарелочке с голубой каёмочкой житейские страсти с разнообразной горько-сладко-ядовитой приправой прожитых дней,

испарившихся в никуда, оставивших после себя следы невидимых шрамов, конфигуративные острые эрозии и горделиво возвышающиеся эпителиальные образования различных органов.

Получив медкарты, все гуськом направились в больничный корпус на предварительный приём к самому профессору. Молчаливая толпа собралась перед профессорским кабинетом, поглядывая с благоговением на открывающиеся и закрывающиеся двери, предвкушая долгожданную беседу со светилом медицины, назначение срока важного обследования, после которого будет ясно, куда дальше плыть по жизни.

Больничное отделение с утра гудело, как улей. Из кабинета вывалилась огромная толпа крикливых студентов в белых халатах нараспашку со счастливыми возбуждёнными лицами, которые, видимо, успели отрапортоваться по зачётам. Мобильники звенели на все голоса: назначались встречи, свидания, выяснялись отношения – жизнь кипела, как ей и положено в молодые годы. Рядом в ординаторскую и обратно сновали люди в голубых халатах. По коридору суетливо бегал медперсонал с установками для капельниц, анализами в пластмассовых боксах, кухонными подносами в руках, на которых бренчали опустошённые тарелки, чашки и ложки. Санитарки постоянно тёрли полы влажной шваброй, угрожающе поглядывая на толпу сидящих женщин, заставляя их поджимать и поднимать ноги в бахилах. Под боком гремел пассажирский лифт, на котором люди в защитной солдатской форме частями поднимали разные тяжёлые трубы, шланги и коробки и перетаскивали в конец коридора. Что странно – во всём этом оживлённом автономном больничном мире не было видно ни одного больного. Такое ощущение, что люди в многочисленных палатах замерли, затихли в осторожном ожидании, прислушиваясь к коридорным звукам, прежде чем высунуть нос наружу.

– Боже, это похоже не на больницу, а на какую-то универсальную строительно-аналитическую лабораторию с броуновским движением людей в белых халатах, – прошептала Лёля соседке слева.

– А почему нас не принимают? Время приёма профессора с двенадцати до часа, а уже четырнадцать тридцать, – спросила женщина.

В этот момент в кабинет вошёл высокий вальяжный мужчина с солидным животом не по возрасту и закрылся на ключ.

– Ну вот сейчас начнётся приём, – с надеждой зашептали женщины.

Но профессор вышел в накинутой на плечи куртке и направился, не глядя на ожидающих его пациентов, в ординаторскую, откуда слышались оживлённые мужские голоса, перемежавшиеся со смехом.

– Да что мы тут сидим, как бараны перед убоем! – возмутилась Лёля. – Думаете, что если откроем рот, тогда нас не запишут или порежут на части на столе?

– А вдруг это не профессор? – робко возразила другая женщина. – Вот этот, смотрите, больше похож на профессора.

– Нет, этот похож на санитаря из морга. Вон какой гладкий, спокойный, сытый, – ехидно заметила Лёля, вызывая тихий смехок.

– Всё! Это предел! Мы для них со своими ОМС – мусор. Что с нас возьмёшь. Вот если бы за наличные, то двери всех кабинетов давно были бы для нас открыты, – сказала Лёля и решительно направилась в ординаторскую.

Профессор, внушительной арийской внешности, в надетой на голову кепи немецкого покроя, с интересом обсуждал с коллективом сценарий юбилейного застолья в ресторане, на который, как поняла Лёля, собирали деньги.

Ну да, – промелькнула мысль у Лёли, – видимо, юбилей у кого-то свыше, раз такой ажиотаж.

На требовательное замечание Лёли, что приём сорван уже на полтора часа, люди в голубых халатах ответили изумлённым молчанием.

– Профессора вызывают на срочное совещание к руководству. А вы ждите, – ответил другой врач с южным акцентом.

– А мы можем обойтись для формальной записи и без профессора. Вон вас здесь сколько, – парировала Лёля.

Профессор побагровел и, выскочив из кабинета, приказал на ходу своим подчинённым обслужить страждущих. Толпа из усталых и измотанных нездоровых женщин облегчённо вздохнула. Только одна из ожидающих, перепугавшись, что без профессора её проблему никто не разрешит, закричала вслед убегающему медицинскому светилу, что будет ждать его хоть всю жизнь. Женщина хотела немедленно лечь в больницу на обследование и операцию, так как тупая боль в желчном пузыре не отпускала её вот уже вторые сутки. Зря что ли приехала с другого конца города по направлению.

Толпу раскидали по журналу записи на процедуры буквально за пятнадцать минут. Запись проводили молодые люди, с трудом говорящие на русском языке, со лживой приветливостью лукавых и равнодушных глаз, с явным пренебрежением к коренным не состоятельным петербурженкам, имеющим права на всё, но ничего существенного в кошельках. Женщину с приступом выставили из кабинета с отказом положить в больницу, дав ей понять, что и профессор ей не поможет, и посоветовали спокойно вернуться домой и вызвать скорую.

– Как же так, я честно дождалась консультации по направлению, еле-еле приехала, чтобы сразу лечь в больницу, а меня выгоняют? – со слезами вопрошала больная.

– А не надо выстраивать свои планы без них. Смогли добраться – сможете и вернуться домой. Там и вызывайте скорую, если так плохо, – сказал кто-то из толпы.

– А мне сейчас плохо, – растерянно пробурчала больная.

– Тогда вот здесь и сейчас, в этом коридоре, сидя на этом стуле и вызывайте по мобильному скорую у них на глазах по их же адресу. Это ваш последний шанс сразу попасть в их умелые руки, – произнесла Лёля и ушла на запись.

Лёлю приняли с нескрываемым ядовитым раздражением и на её вопрос, почему требуется три дня для этих процедур, нахально ответили, что неизвестно, может быть ей придётся пролежать недели две или месяц. Никаких гарантий. Записали её по срокам даже раньше других. Но, выйдя оплётанной из кабинета, она приняла решение – сюда ни ногой, бежать как можно дальше отсюда, из этого отделения, где когда-то по скорой оперировали её мужа с пребыванием в реанимации более двух недель с тяжёлыми послеоперационными последствиями. Из её памяти до сих пор не мог выветриться тот запах гниющих тел, мочи и хлорки, несмотря на сегодняшний относительно чистый воздух, наполненный вибрациями беспорядочной суеты, внешней деловитости и ледяного равнодушия.

Поискав в Интернете другой вариант, Лёля остановилась на городском клиническом онкологическом диспансере. Направления и кучи анализов, кроме ЭКГ и клинического анализа крови, не требовалось. Цена платных услуг была самая низкая по Петербургу, приём на процедуру буквально через неделю, да и сам многоэтажный грозный центр на проспекте Ветеранов вызывал трепет, уважение и надежду на высокий профессионализм и точность диагностического попадания.

Лёля была довольна, так как не могла оставить дома, больше чем на сутки, своего больного мужа, едва видящего одним глаукомным глазом и перенесшего два инфаркта и микроинсульт. Подготовку проводила серьёзно и тщательно, следуя всем предписаниям, указанным в инструкции к лекарству Фортранс. Очищающее средство оказало на неё удивительное воздействие, подарив давно забытое ощущение лёгкости, устранив постоянно тянущие болезненные симптомы, погрузив её в лёгкую невесомость.

– Как хорошо, – думала Лёля, – когда не заставляешь уставшие органы трудиться, когда внутри всё замирает в покое, как в молодые годы. Недаром во время блокады многим голод излечивал язвы. Нет, нет! Упаси Боже от такого избавления, – рассуждала она сама с собой.

Лёля ждала звонка сына, который обещал отвезти её в клинику и затем забрать после процедур под общим наркозом.

Звонка сына она дождалась, но новости были неутешительными:

– Я не могу приехать. Не в форме. Возьми такси.

Такой ответ она слышала от него не раз. Именно в самые экстремальные моменты жизни, хотя она редко обращалась к нему с подобными просьбами. Внутри опять зануло, она сразу почувствовала какую-то ватную тяжесть на плечах и пожирающую силы усталость.

– Только бы не глотать эту обиду натошак, не наносить дополнительные раны, не позволять себе думать об этой мучительной для неё удручающей жизни сына, – дала себе установку Лёля.

До клиники она добралась спокойно в метро в течение часа. Правда ноги передвигались с трудом, слегка звенело в голове и ощущались глухие сердечные удары в ушах. В клинике на пятом этаже перед операционным блоком сидел народ и опять же почти одни женщины. Все они были с сопровождающими. В сторонке сидел одинокий высокий, худой, седой мужчина, всем своим обликом напоминающий образ Дон Кихота. Он обращался ко всем присутствующим, задавал вопросы, не получал ответов, задавал другие вопросы и смотрел на всех будто детским, открытым и встревоженным взглядом, вспоминая прошлые времена, когда эта клиника была ведомственной больницей Кировского завода и всё было справедливо и доступно каждому работающему там. Лёля периодически ему отвечала, давая ему свои немудрёные советы для моральной поддержки, чему он был страшно благодарен.

– Много ли надо человеку в трудный момент. Просто дружеские слова в поддержку, и уже легче. Так почему все закрылись глухой завесой молчания? Каждый ушёл в себя и ковыряется в собственных страданиях и страхах. А всё же легче, когда ты можешь поддержать другого, тогда и своё не кажется таким уж безысходным, – думала Лёля, переговариваясь с воспарившим от внимания Дон Кихотом.

К операционной вне очереди подвозили на каталках лежачих больных. Чувствовался устоявшийся порядок. Медперсонал извинялся за задержку из-за наплыва срочных случаев, и люди благодарно ждали. Всех объединяла общая беда, вызывая чувство доверия друг к другу и располагая к откровенности. Лёля с любопытством слушала впечатления тех, кто уже прошёл через ожидающие её испытания. Стала болеть голова, усилился звон в ушах. Поняв, что после наркоза ей потребуется помощь, она позвонила сыну с настойчивой просьбой, чтобы он приехал за ней на метро, забрал и на такси отвёз домой за её счёт.

Лёлю пригласили в самом конце приёма. Она вошла в операционную, словно в храм, в котором было множество блоков, дверей, закоулков и кабинетов. Её вели по белому кафельному лабиринту, где каждый шаг отзывался звучным эхом, где звук металлических инструментов резонировал с гладкими стенами, мимо бесчисленных непонятных медицинских агрегатов с внушительными рычагами, огромными нависающими светильниками, лежаками и мониторами. Подвели к стульчику за ширму, выдали операционные панталончики с прорехой и попросили раздеться. Лёля осталась в новой белой удлиненной футболке, новых белых носочках, подошла к низкому топчану и бесстрашно легла на него, полностью вверяя себя в руки врачей, без тени сомнения. Увидев над собой, как ей показалось, множество внимательно устремлённых на неё глаз, она ощутила пронзительное чувство великой благодарности к ним, шепча всё тише и тише: Спасибо, спасибо, спасибо... Её маленькое податливое тело обмякло, впустило в себя алчущие глазницы электронных объективов и погрузилось в непостижимые тайны своей вселенской сути. Душа будто открыла врата в новую вневременную реальность плоти и духа на грани сомнамбулистического сна.

## ПОД НАРКОЗОМ

Лёля стала невесомой и прозрачной, как воздух. Под шорохи удаляющейся реальности, с безумной скоростью она стала возвращаться в прошлое, будто кто-то крутил плёнку её жизни назад, к детству, к её истокам, а может быть и к спасительной утробе матери.

Под звуки знакомых и давно забытых голосов перед глазами молниеносно сменялись кадры жизни. То ли она пролетала мимо них куда-то вниз с замиранием сердца, то ли память крутила ленту пережитых событий перед её глазами. Множественная речитативность человеческих голосов сливалась в нарастающий, будто птичий гомон.

Промелькнули страницы и названия искусствоведческих статей, которые она торопилась сдать в печать на днях. Пролетали холсты картин, висевших у неё дома на всех стенах, на которых изображался иудейский портретный барельеф мужчины с орлиным носом. Возникли лица чужих людей, смотрящих на неё из залов библиотек и музеев, где она выступала иногда со своими наперсницами по поэзии перед крохотной аудиторией седовласых слушателей. Показались внушительные лица охранников банков, в которых она провела десять тягостных напряжённых лет, познавая запутанную финансовую науку – зыбкую и такую непредсказуемую на поворотах банковской деятельности, так до конца и не понятую ей, пугающую огромными потоками незримых денег, появлявшихся из неоткуда и уходивших в никуда.

Проплыли портреты двух старушек – одна с недоброжелательным злым деревенским лицом, со сверлящими душу, глазами-буравчиками, другая – с восторженными голубыми глазами, смотрящими с молчаливым вызовом.

Замелькали страницы семейной жизни на старой квартире, строгое требовательное лицо мужа, детская фотография маленького бегущего сына на берегу Ладожского озера, свекровь с недоверчивым испытывающим взглядом, брат в морском офицерском мундире с кортиком...

Затем пошла череда давно забытых начальников конструкторского бюро, кабинеты, культуры, длинные коридоры, в каких-то сумрачных заводских перспективах с устрашающим стуком штамповочных цехов, с лязгом непонятного грохочущего оборудования и едким химическим запахом мерзких гальванических ванн.

Неожиданно ослепило яркое приморское солнце, заблестели морские волны, бархатные разноцветные сопки плавно подкатывались к ладоням, вызывая пронизывающую сердце радость к родине её матери, где проходили её счастливые отроческие года. Только там, на этой дальневосточной земле в летнее каникулярное время, в окружении обожаемых бабули и дедули, многочисленных добрейших тёток и дядек, двоюродных братьев и сестёр она испытывала почти физически, до головокружения несказанную любовь к себе и неисчерпаемую нежность.

Горы, горы, крутые спуски, узкие лесные тропинки с выпученными корнями деревьев. Скатывающийся бег среди этих корней, страх, падение, отчаянье. Откуда-то показалось виноватое лицо лёлиного отца, ухмыляющееся азиатское лицо невестки, из-за которого с любопытством выглядывала маленькая чумазая внучка. А потом – очереди, очереди, очереди, звон бутылок, праздничные застолья в служебных комнатах, крики, протесты, горькая безысходность.

Выплыла внушительная голова оленя с красивыми рогами, на которых лежал восьмимесячный сын. Память о Сестрорецке, когда она рано утром, остолбенев от счастья, увидела огромного оленя в открытом окошке снимаемого на лето хозяйского деревянного домика, а потом, позже с остановившимся сердцем и протянутыми руками бежала к падающему с дивана сыну.

Возникли школьные кабинеты, у солнечного окна – огромные, выше её роста, напольные счёты, за которыми в начальном классе она стояла в слезах, не понимая, куда надо сдви-

нуть костяшки. Хотелось, чтобы её не мучили и отпустили домой, где можно было от этого спрятаться. Ласковая Лера Михайловна – первая учительница, зооуголок с кроликами, ненавистный дневник, влюблённость в Витьку, хулигана-двоечника, Женьку Комарова, отличника, и стенгазеты, стенгазеты, стенгазеты, разбросанные среди гуаши на полу дома и в школе, дарящие новую, открытую Лёлькой, упоительную радость творческого полёта.

Картины раннего детства ошпарили острой ностальгической тоской. Дом напротив Московского вокзала, сад с мощными стволами деревьев и под ногами россыпь осенних жёлтых, красных и бурых кленовых листьев. Детский сад: хождение парами длинными колоннами, мучительное глотание рыбьего жира с больших столовых ложек, коллективное сидение на горшках по команде, дневной сон на раскладушках стоящих впритык, чрезмерное любопытство к интимным местам мальчишек и девчонок и необъятное чувство незащищённости и одиночества в этом гудящем, как опасный улей, пространстве. До слуха донеслось поскрипывание новых больших необтёсанных деревянных качелей, на которые в огромном количестве забиралась дети, где ей больно прищемило ногу, сорвав кожу до мяса.

Дворовые игры, сараи, страшные тёмные лестницы, странные женщины с вокзала, водящие мужчин в парадные, милиционеры и закрытые чёрные фургоны, машины «Чёрный ворон», мимо которых даже пробежать было страшно. Детство манило всё глубже и глубже к себе, высвечивая до неожиданных мельчайших подробностей давно ушедшие в небытие события.

Стало темнеть, будто в сумерках. Пошла череда знакомых лиц, затерявшихся давно в глубинных лабиринтах памяти. Опять шёпот голосов, окрики, призывы и руки, руки, руки, цепляющиеся за неё из высвечивающихся перед глазами кадров жизни. Сколько чужих лиц, сколько дней, лет просвистело без памятного отпечатка. Ах, как замирает сердце, как умопомрачительно сладко парить в этом спрессованном хаосе прожитых лет!

Скорость полёта затихала. Замедлился ритм сменяемости кадров. Что-то недосказанное, невыраженное повисло в воздухе. А главное, главное-то где? А что главное?! Ощущение прикосновения знакомого, родного и тёплого коснулось щеки. Это была мамина ладонь! От счастья стали наворачиваться блаженные слёзы...

– Вы меня слышите? Просыпайтесь! Просыпайтесь! Всё хорошо, – говорил откуда-то сверху приятный сдержанный мужской голос.

Лёля открыла глаза и почувствовала лёгкое ритмичное постукивание чужой руки на своей щеке, по которой струйкой скатывалась щекочущая слезинка.

– Спасибо, спасибо, спасибо, – неустанно лепетала Лёля всем, кого видела в операционной, с благодарностью поглядывая на умные приборы, которые её уже не пугали.

## ПОСЛЕ НАРКОЗА

придя в себя и выйдя из операционной, она увидела сына, активно жующего жвачку, сидящего с непроницаемым лицом в стороне на диване, отрешённо поглядывающего на её шаткую походку в пустынном больничном коридоре. Не спросив ни о чём, он направился к лифту, предполагая её присутствие позади себя. Такси, на котором он приехал, ритмично отсчитывало счётчиком сумму за работающий в простое мотор в течение часа. Они сели в машину и тронулись к её дому. Кабина быстро наполнилась ненавистным запахом многодневного перегара и новыми Лёлькиными мыслями после фантазмагорического полёта, промелькнувших перед глазами сцен прожитой жизни.

Лёля была потрясена собственным открытием – большая часть отмеренного ей времени была потрачена впустую. Всю её жизнь в одно мгновение некая неведомая и всемогущая сила просеяла через огромное космическое сито. Всё, на что уходили многие годы, просеивалось мелким мусором, требухой, пылью в тёмное бездонное безответное пространство, оставляя лишь крохотные драгоценные кристаллы того, что можно было бы отнести к настоящему в её жизни. И этим бесценным настоящим стали – ладонь матери, взгляд отца, боль за сына, жалость к внучке и её запутанная семейная жизнь, полная борьбы и яростного противостояния драматическим поворотам судьбы, с гнетущими сомнениями и неукротимой надеждой. Только теплящаяся с детства тяга к творчеству скрашивала её скачкообразное бытие кратковременными вдохновенными путешествиями в придуманный мир её поэтических образов, прозаических зарисовок, драматургических историй, написанных для своих, таких же замотанных соплеменниц, из последних сил не сдающихся ненавистному городскому быту, надвигающейся старости и тягостным житейским невзгодам.

Если бы кто-нибудь спросил у Лёли, а была ли она счастлива и сколько раз, то, скорее всего, этот вопрос поставил бы её в тупик. Вроде всё, как у людей, – родители, дом, детство, школа, учёба, замужество, сын, внучка, а назвать себя счастливой язык не поворачивался. Да и вспомнить сразу что-то особенно яркое, оставившее неизгладимый след в душе, кардинально изменившей жизнь, потрясшей её, она не могла. Пережитые события жизни были перемешаны светлыми и тёмными оттенками всех существующих в природе красок, а поэтому радость, видимо, подавлялась грустью, печаль разбавлялась надеждой, горе затихало от тепла, любовь приглушалась бытом, быт озарялся удачными поворотами судьбы, а судьба становилась родной и приемлемой благодаря мудрости, взрослеющей день ото дня.

## ИЗ КАКОГО ТЕСТА

была слеплена Лёлька, догадаться было не трудно даже и ей самой. От матери, выросшей на Дальнем Востоке в многодетной семье каменщика в любви и тепле, она получила всё то, что, по мнению людей прагматичных, только мешает правильной жизненной установке. Лёля – наивная доверчивая фантазёрка, готовая открыться первому встречному, считающая за счастье протянуть руку помощи каждому, уверенная в преображении любого человека, если приложить к этому усилие, терпение и любовь.

Истоки этих качеств шли из глубины материнской родословной, хранящей многочисленные легенды, передаваемые родными из поколения в поколение, где каждый персонаж обрстал своей таинственной судьбой, сливавшейся со своей эпохой во всех её непредсказуемых поворотах. Главное – это несгибаемая вера в новую лучшую жизнь, для которой надо потрудиться, и, не пасуя, идти вперёд.

Для того, чтобы понять себя, свою духовную суть, надо соприкоснуться хотя бы с сотой частью того, из чего состоишь, из переданных биологических, физических, генетических незримых молекул и атомов прародителей, проживших свои короткие или длинные жизни, давших тебе эту жизнь, перестрадавших и переживших то, что уже не должно коснуться твоей судьбы, перенёсших земные человеческие страдания, которые трансформировались в тебе спасительной интуицией, защитным страхом и безошибочным чувством своей истины, как бы глубоко она ни была зарыта от глаз, сердца и сознания.

Нереализованные мечты предков переросли в буйное воображение, наивную чистоту помыслов и поэтическое восприятие действительности последующих поколений, что вполне соответствовало природному нраву прародителей по материнской линии, начиная от Лёлиного прадеда Филиппа, сироты, родившегося в латвийской деревне Щедрыты, воспитанного тёткой. Прадед Филипп был хорош собой и примечателен в округе. Решительный, властный и прямолинейный, он обладал неумным нравом и волевым характером. Считался бобылём – так называли безземельных крестьян. Владел строительным ремеслом, был мостовщиком и каменщиком. Юношей много ездил с артелями строить города, подряжался в строительстве Риги, Варшавы, Петербурга. Когда приезжали за рекрутами, от армии его прятали в дровах. Всё лето трудился на сезонных строительных работах, а на зиму приезжал в деревню, где у него была небольшая хатка, самовар, гармонь да лаковые сапоги. На зиму покупал лошадь и всю зиму охотился. Хорошо знал и любил природу. Умел заговаривать испуг, болезни, змей.

На одну из маслениц Филипп украл из-под венца сироту Пелагею, просватанную за вдовца с коровой, лошадей и домом, без особого сопротивления с её стороны, влюблённую по уши в отчаянного Филиппа. Они прожили счастливую совместную жизнь дружно, нажив семерых детей: четырёх дочек и трёх сыновей. После чего Пелагея занемогла и внезапно скончалась в 45 лет от женских недугов. Прадедущка Филипп, помня своё сиротское детство, наотрез отказался жениться, сказав: «Чтобы какая-то кавлинка измывалась над моими детьми – никогда!» И посвятил свою жизнь детям, которых держал в строгости и послушании, презирая людей нерешительных и забытых. Внучки на всю жизнь запомнили его слова: «Что ты ходишь и спишь в шапку на ходу», «Молчи – чертовщина!», «Человеку в глаза гляди, тогда не соврёшь!».

Семья жила в деревне, а Филипп с сыновьями уезжал каждую весну на заработки. Брали работу по постройке домов или мостили улицы в Петербурге и Варшаве. На заработанные деньги покупали хлеб и одежду. Дочки, подрастая, нанимались к помещику на работу: косить, жать хлеб; получали 10—15 копеек в день. За неделю работы, от зари до зари, можно было купить ситца на платье. Зимой мужчины проводили дома, ходили на охоту, били зайцев. Сыно-

вья учились грамоте дома, где за еду и крышу над головой грамотный человек обучал их чтению и арифметике. Дочкам Филипп запрещал учиться: «Зачем вам грамота? Женихам письма писать. Ни к чему. Пусть мальчики учатся, им в солдатах служить». Девочки вели себя строго. Парни не курили. Танцевали зимой на мясоеде – Рождестве, а в пост не разрешалось – «Беса тешить – грех!». На праздничных ярмарках Филипп покупал своим дочерям шубки, ротонды, платки шерстяные, ботинки с галошами и всё, что надо было для жизни и девичьих радостей.

Шёл 1907 год. Дошли до деревни слухи о Дальнем Востоке. Надо было строить город Владивосток. Давали большие по тем временам переселенческие пособия (подъёмные). И Филипп принял решение везти всю свою уже многочисленную семью с первыми внуками в дальние края – строить Владивосток. От прощания с родиной щемило сердце. Целый месяц ехали в неведомый край в вагонах для перевозки грузов – теплушках через всю Россию. Первые шаги в этом путешествии сделала его внучка Степанида, держась на остановках за колёса вагонов. Всё же добрались без потерь. Объявили заселение Приморского края вдоль побережья Японского моря. Земли можно было брать сколько душе угодно. Кругом леса, тайга, зверя много. Филипп сразу ринулся строить семейные дома в глубине тайги и вырвал из дикой природы своё место под небом. Работал вместе с корейцами, встречался с опасными хунхузами, не пасуя ни перед кем. Его дети с семьями всё же перебрались из тайги строить город, да и внуков надо было обучать школьной грамоте. Именно в это время Лёлькина мама, любимая внучка, была особо близка с дедом Филиппом, который души в ней не чаял, чувствуя в ней задатки своего характера и способности в лечении внушением и травмами от всяких болезней.

Много было пережито родными. Сбывались вещие сны. Так старший сын Филиппа Павел, увидев сон, в котором к нему пришёл убийца с ножом, чтобы зарезать его, стал во сне уговаривать убийцу дать ему жизни ещё года три, прибежал к отцу и рассказал об этом, а ровно через три года он был зарезан у дома, не отдав убийце заработанные семьёй сто рублей, спрятанные в сапог. Другой сын Иван, от которого убежала из тайги жена, бросив на него трёх детей, поднял своих детей, взяв в жёны вдову с ребёнком к себе в дом, родившей ему ещё двух близнецов. Младший сын Степан, попал на фронт в 1914 году, пережил немецкий плен, бежал из плена, был травмирован, но прошел ещё одну войну, 1941—1945 годов, долго лечился, но не сдал своих жизненных позиций, с восторгом и верой принял Советскую власть, сулившую братство и справедливость. Младшая дочь Харитина, так похожая нравом на Филиппа, сбежала от запрета отца со своим любимым матросом, чтобы расписаться с ним, а потом показаться через десять дней, упав в ноги отцу. Прожив недолго в любви и согласии, закончила свою жизнь в сибирских лагерях, осужденная на десять лет без права переписки, как враг народа, попав туда по доносу завидовавшей её счастью подруги. Много, много чего выпало родным, озарённым не смотря ни на что высокими духовными принципами, чувством долга, бесстрашием и самоотверженной любовью. Дочери Филиппа были наделены силой духа и женской покладистостью, пылкой влюбчивостью и верностью до гроба, незлобивым отходчивым нравом и твёрдым упорством, жертвенностью и неисчерпаемой добротой ко всему живому.

Как и мама, Лёля была влюбчивой, не исключая противоположный пол, но до первого неприятного разговора или нежелательного действия со стороны избранного объекта. Разочаровывалась она с такой же стремительностью, как и влюблялась. Спасала от неких нежелательных опасных ситуаций её природная интуиция, которую она беспрекословно слушалась. Но чаще всего её саму никто не замечал из-за её неброского вида и неуверенности в самой себе. Лёлька вдохновлялась своим неуёмным воображением, наделяя объекты внимания недосягаемыми для обычного современного человека рыцарскими качествами.

Мама, родившаяся на Дальнем Востоке, обладала даром предвидения, который так ценил в ней дед, передававший маленькой внучке свои знания о трактовке вещей снов, учивший заговорам и внушениям, для пользы, как людей, так и животных. Но она воспринимала это как игру. Позже, учась в институте, ей сильно увлёкся женатый преподаватель, она ему отказала,

чтобы не разбивать семью. Но однажды она увидела его с женой на улице, поздоровалась с ними и её пронзила внезапная мысль, а как сложилась бы их судьба, если бы жена исчезла. И вот ровно через год на том же самом месте мама встретила преподавателя, который ей сообщил, что жена умерла, и он просит её стать его женой. Её охватил смертельный ужас, как от страшного сна, сбывшегося наяву. Всю жизнь мама старалась гнать от себя внутренний вещий голос, действуя вопреки ему по общепринятым устоям, но в конце концов голос побеждал и разбивал в пух и прах хрупкую конструкцию её выстроенных доводов и аргументов, да только тогда, когда уже ничего нельзя было вернуть и изменить.

Как и её три сестры, она стремилась получить образование, чему способствовали, как могли, простые родители, с трудом читавшие только библию по слогам. Закончив Благовещенский Педагогический институт, стала преподавателем русского языка и литературы с правильными нравственными установками в жизни, с одержимой верой в непогрешимость законодательной власти и уверенностью в целесообразности переделывания людей и всего мирового сообщества к лучшему, в том числе и своего супруга – заблудшую овцу, помогая получить ему заочно после десяти лет супружеской жизни уже в Ленинграде высшее юридическое образование, упорно выкристаллизовывая его моральный облик, борясь с трусливыми мелкими изменениями и ресторанными послесудебными заседаниями в ущерб семье и здоровью.

В первый же месяц после бракосочетания, муж отправил её в дом отдыха одну, где на неё напала смертная тоска по нему, а потому через неделю она неожиданно вернулась домой. Радостно вбежав в комнату, она застала мужа врасплох в постели с пышной блондинкой. Мгновенно поняв, что более от этих семейных уз ничего хорошего ждать не придётся, собрала вещи и ушла к сестрам. Но старшая сестра, только-только пережившая развод, бросившая мужа по той же причине, оставшаяся с двумя маленькими сыновьями, сожалеющая о своём спонтанном поступке из-за трудностей быта, навалившихся на её плечи, уговорила, убедила её не разводиться, рисуя картины полного одиночества, проблем с замужеством, оправдывая мужские измены их физиологией и природными инстинктами. Доконало Лёлину маму и настойчивое слезливое покаяние неотступающего от неё мужа, который понимал её превосходство, догадывался, какую козырную карту случайно вытянул в жизни, и уже нуждался в ней, выстраивая свои честолюбивые замыслы на будущее. Мама переступила через своё уже не предчувствие, а точное видение тягостной женской судьбы, но оптимизм и вера в реальность перевоспитания силой самоотверженной любви затмили внутренний слабеющий интуитивный голос.

Литературные образы мировых классиков ушедших веков и советского периода идеализировали её представление о жизни, ковали высокие нравственные устои, а жизнь беспощадно вносила свои жестокие коррективы, против чего по-своему упорно боролась её сильная натура. Спасал природный оптимизм, низкий прекрасный, выразительный голос и гитара. Ибо только хороший романс и песня могли отчасти восстановить её былое, всё реже и реже присутствовавшее в ней душевное равновесие.

От отца, родившегося десятым по счёту ребёнком в беднейшей семье в деревне Лопуховка под Саратовым, Лёле передалась природная смекалка, выживаемость с врождённой чуткой осторожностью и недоверием к людям, отторгаемым интуицией. Чтобы не умереть с голоду, отец взял справку в сельсовете, что ему исполнилось шестнадцать лет, а ему было всего четырнадцать, и убежал в армию. Посмотрев на его щедрость, направили на курсы РККА, после чего он попал на срочную службу, исполняя работу кухонного солдата-извозчика, а оттуда, окрепнув, был направлен в школу военных следователей, так как знал грамоту. В двадцать лет, а фактически в восемнадцать, отец был назначен военным прокурором одного из городков Приморского края, за неимением других профессиональных кадров, ликвидированных в пору активных довоенных репрессий.

Страшно подумать, какие решения принимал этот загнанный жизнью юнец, испытывавший страх голодной смерти, увеличивший свой возраст в анкете на два года, чтобы сбежать в армию,

ближе к котлам с кашей, научиться грамоте, зацепиться за сытую жизнь, встать с четверенек, приблизиться к любой власти, кормящей его, с надеждой и жгучим желанием стать одним из винтиков этого всемогущего механизма.

Отец благополучно отслужил военным прокурором в Приморье, под Москвой, на Заполярном фронте, в Таллинне, воссоединился с семьёй, уволился с военной службы и переехал в Ленинград в начале 50-х годов.

Лёля до сих пор помнила яростные перепалки и ссоры за плотно закрытой дверью между матерью и отцом в Ленинграде, когда он просил маму проверить, исправить и облагородить его юридические опусы. Сначала они вызывали у мамы дикий смех, потом – раздражение от упорного несогласия отца с исправлениями, и, наконец, измучив друг друга, в напряжённой тишине родители приходили к консенсусу, скрипя пером и шелестя бумагой с папиросами в зубах. Но всё же это была их совместная жизнь, несмотря на внешние и внутренние проблемы, на измены отца, изнуряющие вещь раненую душу мамы, на которые она больше не натыкалась в упор, но остро чувствовала. Её деятельная конструктивная критика подспудно бесила, невольно унижала мужское достоинство отца, отдалявшегося от семьи.

Не исключено, что она воспринимала своего мужа трудным, но любимым учеником, незаменимым отцом своих детей. Она была неисправимой идеалисткой, живущей по своим критериям максималистских правил, в которых мораль и нравственные устои, закреплённые великими русскими классиками и отборной советской литературой, были превыше всего. За что и поплатилась, не смирившись с отвоёванной отцом полусвободой, удушающей полуправдой с устоявшимися принципами отрицания недоказанной вины неисправимого грешника. Уже будучи на пенсии в течение пяти лет, мама пережила трагический развод с единственным в жизни мужчиной, что ускорило её раннюю кончину.

## ЛЁЛЬКИНО ДЕТСТВО

проходило в солидном ведомственном доме напротив Московского вокзала в Ленинграде, где отец получил гражданскую должность прокурора Московской железной дороги. Кабинет отца находился на первом этаже старинного вокзального помещения с внушительными тяжёлыми дубовыми дверями, с трудом открываемыми Лёлькой с братом, прибежавшими иногда к нему на работу.

Вокзал притягивал их к себе бесконечной, как тогда казалось, радостной суетой, наполненной свистящими и гудящими звуками подвижных составов, кричащими женскими головами из стальных серых динамиков-колокольчиков. Были там и латки для мороженого и газированной воды, бегающие с тележками носильщики в больших холщёвых фартуках, на которых были обозначены красивые номера, инвалиды с красными обветренными лицами на костылях и мужчины-калеки с папиросами во рту на маленьких тележках с колёсиками, с морщинистыми и возбужденными лицами, цыганские шумные семьи, врезающиеся клином в пассажирскую толпу, странные неторопливые мужики в ватниках и шныряющая в залах ожидания, подозрительная милиция. Женские крики, детский плач, резкие мужские голоса со смачными выражениями сливались с шипящими паровозными звуками и каркающими объявлениями в единый монолитный гул, который можно распознать с закрытыми глазами, как по звуку, так и по запаху, источаемому вокзалом и пропитанному человеческими тревогами, страстями, надеждами, пороками и неприкаянной свободой.

Путь к ведомственному дому в стиле внушительного сталинского ампира, где жила Лёлька, проходил мимо пикета милиции. Там стояли многочисленные тёмные закрытые фургоны, которые назывались «Чёрными воронами». Дети с любопытством подсматривали через щели высокого деревянного забора, кого привозили, куда вели и что говорили при этом. Пробегая мимо этого мрачного пикета, Лёлька замедляла темп, невольно старалась показать всем своим видом, что она хорошая, не такая, как эти крашенные тётки, пьяные дядьки и сердитые мужики, и честно пялила свои округлившиеся от страха глазёнки на ближайшего милиционера.

От Московского вокзала дом отделял небольшой сад с высокими породистыми деревьями. Вот этот сад с осенними листьями и скрипучими деревянными качелями видела Лёля иногда в своих ностальгических снах. Память высвечивает первую квартиру на третьем этаже, где соседями была семья полковника с тремя дочерьми. Жена полковника, строгого и тихого человека, сделала из кухни художественную мастерскую, где периодически копировала маслом известные картины и писала портреты с фотографий. Кухня была для Лёльки святилищем. Она забивалась в уголок, нюхала с вождением масляные краски и рисовала цветными карандашами всё, что ей взбрédёт в голову. Соседка настойчиво советовала родителям отдать Лёльку в художественную школу, в СХШ на Васильевском острове. Но к ней не прислушивались, так как она была неизлечима больна шизофренией, и её советы могли быть даже опасны. Приступы, неожиданные и страшные, повторялись регулярно. Однажды во время приступа, Лёлька с младшей дочкой художницы не успели спрятаться в другой комнате и залезли от страха под стол. Женщина закрыла комнату на ключ, разделась до нага, открыла настежь окно, встала на самый край широкого оконного выступа и, подняв руки к небу, стала ловить какие-то невидимые лучи и сигналы из Америки. Так впервые Лёлька узнала про эту далёкую часть света и запомнила её название на всю жизнь. Девочки сидели под столом и ныли, что хотят писать. Она дала им баночку. Через какое-то время дверь бесшумно открылась, тихо, будто на цыпочках, вошли три огромных санитаря, бросились к женщине, закатали в огромный белый балахон и унесли.

Лёлке было грустно без неё, так как мастерская быстро превратилась в обыкновенную кухню. Уже позже, через много лет, она узнала страшную весть – у всех трёх дочерей после сорока лет проявилась шизофрения, что приводило в отчаянье их любящего отца. Видимо, по этой причине, отец поменял жильё в этом же доме с третьего этажа на первый, менее престижный, но с тем же метражом из двух комнат.

Лёлке запомнилась внутренняя широкая мраморная лестница в один пролёт, закрытая деревянной расхлябанной дверью с огромным кованым крюком. По краям лестницы стояли велосипеды, вёдра, тазы, кипы старых газет, всё, что хранили только в сараях, потом шла вторая дверь, общая большая прихожая с разными входами для двух семей, набитая многочисленной пыльной обувью и висящей на крючках круглый год одеждой под тряпичными старыми занавесками, похожими на застывших горбатых гигантов. После жилых комнат шла проходная с четырьмя дверями, ведущая в кухню, где рядом с тюками для грязного белья спали молоденькие деревенские домработницы, и сама кухня, с незагороженной ванной и окном, выходящим на задний двор, где под самым окном в изолированном от глаз месте находились мусорные бачки в окружении человеческих экскрементов. У каждой семьи в разных половинах квартиры было по две большие сквозные комнаты.

Кухня кишела бесчисленными крупными тараканами, которые стаями шуршали под шевелящимися клеёнками кухонных столов. Чтобы войти на кухню, Лелька от страха сначала включала свет, потом топала ногами и стучала чем-нибудь твёрдым по столам. Однажды братик от любопытства решил приподнять клеёнку и посмотреть на них. Тараканы плотными рядами побежали по его руке к шее, вызвав жуткое отвращение, брезгливость и страх. В туалет по ночам, как на водопой, прибегали крысы, которые однажды сорвались с высокого бачка, упав на спину соседской старенькой няни. У Лёли было ощущение, что эта

## КВАРТИРА – ЖИВОЕ СУЩЕСТВО

которое дышит, охает, ахает, шуршит, скрипит, ноет и угрожает. Квартира была выложена паркетом, который в полной тишине разговаривал скрипучим голосом, имитируя чьи-то вкрадчивые, приближающиеся к детской комнате, шаги, пугая Лёльку до немоты и сильного сердцебиения. В незашторенной ванне на кухне, заранее грея в вёдрах воду на керосинках и газовой плите, её мыли одновременно с братом, посадив в ватер, что вызывало у Лёльки мучительное чувство стыда и неловкости, усиливающееся от любопытных, как бы случайных забот на кухню соседского мальчишки, который не раз, когда не было родителей, звал её к себе в гости поиграть в папу и маму.

У соседей жила их старенькая няня, а для Лёли с братом постоянно нанимались домработницы, простые деревенские девушки, с которыми у отцов двух семейств происходили непонятные для детей истории, после чего девушки пропадали, и появлялись новые. Мама ценила одну домработницу, которая ничего толком делать не умела, зато часами читала вслух детям толстые книги без картинок, как оказалось – Мопассана, Куприна, Тургенева и Гюго. Они питали её девичье сердечко романтическими мечтами. Лёльку завораживало непривычное и порой непонятное «окающее» произношение слов, характерное для деревень. На брата чтение наводило смертную скуку, он с тоской поглядывал в окно, за которым шла настоящая дворовая жизнь: с играми в лапту, войнушку, прятки, считалки, пятнашки, Али-Бабу и во всё, что только знает детвора, исчертившая весь доступный асфальт в клеточки, кружочки, пятиконечные звёзды и ненавистный фашистский символ – свастику – рядом с матерными словами.

Лёльку приучали к хозяйству и частенько заставляли мыть жирную послеобеденную посуду на кухне в алюминиевом тазике, поставленном на широкий низкий подоконник окна, за которым на плотно прилегающей крыше сарая стаями дежурили голуби, кормившиеся из мусорных бачков. Лёлька в полном одиночестве, тревожно прислушиваясь к звукам за спиной, рвала мокрые тряпочки на кусочки, завязывала на одной из сторон узелки и представляла, что это принцы и принцессы, королевы и феи, злые волшебники и черти. Она могла часами стоять и играть с ними, сажая на край тазика, водя их по остывшей жирной воде, делая из скользкой посуды дворцы, тайники и экипажи, лишь бы не поворачиваться к шуршащим столам и тёмной булькающей уборной.

Среди дворовой ребятни был один мальчик, который передвигался на костылях. Он, как мог, старался участвовать во всех ребячьих затеях и был обязательным членом единого дворового братства. Никому в голову не приходила мысль выразить явную жалость или пренебрежение. Однажды Лёлька подошла к окну комнаты, выходящей во двор, и увидела, как мальчик на костылях идет один. Она смотрела на него, и он это заметил. Лёлька даже хотела открыть форточку, чтобы крикнуть ему что-нибудь хорошее. В этот момент он неожиданно упал, костыли разлетелись в разные стороны, и он стал беспомощно подползать к ним, пытаясь приподняться. Лёлька окаменела от увиденного, так как не могла представить себе, насколько он беспомощен без костылей. Время будто остановилось. Мальчик со слезами, не отрываясь от Лёлькиных глаз, боролся с немощью. А Лёлька в оцепенении стояла и стояла у окна, глядя на его жалкие попытки встать на ноги. Душа её давно уже оторвалась от тела, выбежала из квартиры на первом этаже, подхватила костыли и подала их мальчику, который сгорал от стыда перед ней. Но её ноги будто приросли к полу, налившись свинцовой тяжестью. Она поняла, что поступила так дурно, что он ей этого никогда не простит. Жгучий стыд и по прошествии долгих лет разъедал её душу при воспоминании об этом.

Детский сад был в том же доме. Лёльке там было невыразимо плохо – строевая дисциплина, гнёт команд, унижение от громогласных замечаний, коллективное сидение на горшках,

всё тяготило её, вызывая острое желание стать незаметной, просочится сквозь стены и убежать домой.

Лёлька постоянно приносила домой бездомных котят, взрослых кошек и подбитых птиц. Мама молча брала большую старую простыню, густо посыпала котов дустом, туго их пеленала, оставляя лишь мордочку, на которую кучей сбегались блохи. Лёлька с воодушевлением вылавливала и выщёлкивала насекомых, после чего они с мамой мыли котов хозяйственным мылом и кормили. Животных из дома не выгоняли, они сами убегали спустя несколько дней через форточки на свои крыши, подвалы и сараи к привычной свободе заманчивых городских трущоб.

## СТАЛИНСКИЙ ДОМ

был окружён другой неведомой и опасной жизнью, исходившей извне и непреодолимо манившей к себе, несмотря ни на какие родительские запреты. Цыганские таборы гнездились за заборами в сломанных старых вагонах, рядом с которыми по вечерам виднелись силуэты людей на фоне небольших ярких костров. Часто были слышны крикливые голоса, а временами и таборные песни, исполняемые вполголоса под гитарный аккомпанемент. Небольшими угрюмыми группками осторожно бродили странного вида подростки, в основном мальчишки, они жались к товарным вагонам, избегая блюстителей порядка. Во двор эта непонятная жизнь не просачивалась, выдерживала определённую неким негласным законом дистанцию, но хлеб, сахар, да и любые продукты выпрашивали у любопытных детей, а кто был побойчее, из цыган и подростков, то ходили по квартирам с протянутой рукой. И им подавали, правда, не все. За забором дома можно было найти множество пустых кошельков и сумок, брошенных на землю. В сумерках таинственная жизнь вокруг дома словно оживала, в воздухе витала тревожность, слышались торопливые шаги, визги, вскрики и приглушённая брань.

Лёля помнила, как однажды, когда они с подружкой играли на пустыре в сарае, куда им запрещено было ходить, подошёл долговязый парень и, ласково улыбаясь, стал им подыгрывать и тренировать на их придуманном турничке. Она даже не заметила, когда и куда пропала подружка. В памяти сохранился эпизод, как парень нёс на руках Лёлю без трусиков в разрушенные проёмы кирпичного сарая, потом долго держал притиснутой к стене, прикасаясь чем-то упругим и судорожно вздыхая, но не делая ей больно. Лёльке не было страшно, было неловко, стыдно и любопытно. Только дома она впала в дикую панику, зажимая под одеялом рыдания и вопли и холодея от одной мысли, что кто-нибудь узнает об этой дурной тайне. К тому же, уже зная, что от чего-то похожего рождаются дети и как выглядят беременные цыганки, она в отсутствии родителей и брата снимала с себя одежду, осматривала перед зеркалом свой живот, чтобы проверить, не увеличился ли он, нет ли там маленького человечка, мучаясь от вопросов, что она скажет родителям, если он появится, и представляя, как будет над ней надсмехаться весь двор. Несмотря на страх перед уборной, она стала часто забегать туда, чтобы ощупывать живот.

Братик, старше её на три года, слыша, как она часто приглушённо рыдала в подушку, пожалел её и однажды, натянув белую простынь между двух ширмой и шкафом, включил позади себя настольную лампу и стал показывать руками, фигурками и предметами свой театр теней. Он говорил разными голосами до тех пор, пока она не рассмеялась.

Сейчас Лёля понимала, что тогда творилось вокруг её дома, как и во всей стране. Вскоре после смерти Сталина, 28 марта 1953 года в газете «Правда» было объявлено об амнистии. Её называли «Ворошиловской». В считанные недели лагеря и тюрьмы покинули один миллион двести тысяч заключённых, или около половины всех заключённых лагерей и исправительных колоний. Большинство из них были либо мелкими правонарушителями, осуждёнными за незначительные кражи, либо рядовыми гражданами, оказавшимися жертвами одного из бесчисленных репрессивных законов, которые предусматривали наказания практически в любой сфере деятельности, начиная с «самовольного ухода с рабочего места», заканчивая «нарушением паспортного режима». Амнистии не подлежали «политические» заключённые, а также бандиты, убийцы и крупные воры, которые довольно легко и часто сами сбегали на волю.

Среди амнистированных оказалось большое число воров и грабителей – крупные города захлестнула волна преступности. Эта волна не обошла стороной и Ленинград. Ходить по улицам стало невозможно, из рук женщин вырывали сумочки, срывали головные уборы. Карманники промышляли в трамваях, автобусах, троллейбусах, просто на улице в толпе и на вокзалах. Всё это делалось на глазах у людей, нагло, при свете дня. Квартиры обворовывались и днём,

и ночью. Поножовщина и грабёж стали обычными явлениями. Милиция явно не справлялась с таким невообразимым потоком преступлений.

Лёлька помнила, как они гордились с братом, что их отца встречают и провожают от дома до работы и обратно, как важную персону, два милиционера.

## В СЕМЬЕ БЫЛА ПАНИКА

Отец сильно нервничал, так как однажды, как ему показалось, увидел около своего кабинета бывшего заключённого, который грозился когда-то ему отомстить, выйдя на свободу. Лёльку с братом держали дома под присмотром домработницы.

Именно в это время отец возил семью на свою родину в деревню Лопуховка, на которой даже не было железнодорожной станции. Лёлька помнила, как, видимо, по предварительной договорённости отца с машинистом, поезд со скрежетом и свистом резко затормозил у пустого поля, и вся семья, выбросив мешки и чемоданы, буквально вывалилась из открытых дверей мягкого спального вагона в руки какого-то огромного шумного старика с чёрной выющейся шевелюрой и дикими усами, поодаль от которого стояла лошадь с телегой. Поразил залитый солнцем, обожжённый простор пустых полей, скособоченный домик с низенькими открытыми окошками, куда заглядывали покачивающиеся цветущие ветви яблонь, и редкие маленькие домики вдаль. Всё было настолько игрушечное, что когда огромный дед подбрасывал мощными руками визжавшую от восторга и страха Лёльку к потолку, ей казалось, что там она и останется среди здоровенных, прилипших к потолку, мух. Она помнила жужжание пчёл в доме и много-много жидкого ароматного мёда янтарного цвета, разлитого в мисках, кружках и бидонах, который можно было просто пить и облизывать сладкие пальцы. На всю жизнь осталось в ней ощущение замирающего сердца от радостного страха во время бешеной скачки на коне навстречу яркому закатному солнцу по бескрайней пыльной сельской дороге с кем-то, сидевшим сзади и крепко державшим её перед собой. Это было новое неизведанное ощущение полёта и сумасшедшей нереальной свободы, захватывающий дух. Потом была шумная суета, поющий ор, качающиеся и падающие люди, которых складывали на телегу и развозили по домам. Только баба Матрёна с большими натруженными руками была тиха и незаметна, благодарно и как-то печально-затравленно глядела слезящимися от счастья глазами на любимого сыночка и его семью.

В городе детвора сходила с ума от индийских фильмов «Бродяга» и «Господин 420» с Раджем Капуром. Во дворе, в саду на садовых деревьях, на заборах, отовсюду дети орали песню бродяги «Авара Гу, Авара Гу...» Романтика свободы, легковёрность в счастливую бродячую жизнь вдохновляла и радовала, особенно мальчишек. А с выходом голливудского «Тарзана» песня бродяги дополнялась дикими тарзанскими воплями на деревьях, прыжками и подскоками, пугающими не только девчонок, но и проходящих жильцов дома.

В это же время Лёлька, как и все девчонки страны, влюбилась по уши в аргентинскую актрису и певицу Лолиту Торрес, посмотрев с родителями фильм «Возраст любви». Песни Лолиты звучали из всех радиоприёмников и проигрывались на пластинках. Она была потрясена, поражена и даже шокирована красотой Лолиты Торрес, её чёрными горящими глазами, осиной талией, манерой двигаться, волшебными нарядами, красотой чувств и страстным пением. Лёлька с нетерпением ждала, когда все уйдут из дома, вставала перед зеркалом с перетянутой до невозможности ремешком талией, намазывала яркой маминой помадой губы, и подбоченясь, встав вполоборота, громко кричала: «Сердцу больно, уходи, довольно. Мы чужие, обо мне забудь. Я не знала, что тебе мешала, что тобою избран другой в жизни путь...» Песня про чудесную Коимбру давалась ей, по её мнению, хуже.

Позже такое же по силе шоковое ощущение она получила от фильма «Карнавальная ночь», который смотрела, затаив дыхание, в кинотеатре «Художественный» на Невском. Но оно было более пронзительное и глубокое, в нём она впервые почувствовала вместе с восторгом необъяснимую вселенскую печаль от недостижимости мечты, смешавшуюся с предчувствием нарастающего желания таинственной любви во всех её наивных подростковых романтических проявлениях. Но одно с ней осталось на всю жизнь – при соприкосновении с чем-то пронзи-

тельно-прекрасным она моментально погружалась в непонятное для окружающих оцепенение, еще немного и выступят слёзы, замыкалась в этом новом для неё чувстве, дорожа каждым его мгновением, боясь нарушить его ненужными для неё разговорами. И никто, с кем она была рядом в этот момент, не мог понять, почему в моменты всеобщего веселья или лирических сцен любви, Лёлька начинает плакать. Остановить лавину раздирающих её чувств она была не в состоянии, особенно, когда сцены сопровождалась волнующей музыкой. А потому уже позже, когда она стала ходить в филармонию, прослушав музыку, она не могла легко перейти от эмоционального потрясения к грохоту аплодисментов, что трактовалось знакомыми не в её пользу.

Сохранились в памяти шумные весёлые застолья в доме по всем праздникам, где родители собирали большие компании, приглашая соседей и друзей и встречали их с распротёртыми объятьями. Стол ломился от яств, которые собирались вскладчину всем миром, играл патефон, выкрикивались под общий хохот тосты, пелись разбитными голосами русские застольные песни, азартно танцевались вальсы, цыганочка, роковые танго, танцующие спотыкались о немногочисленную мебель, с хохотом падая друг на друга. У детей наступал праздник – они получали от отца кругленькую сумму на мороженое и длительную свободу вне дома.

Иногда родители ходили с друзьями в ресторан. Как в ресторан, так и в театр мама надевала своё длинное атласное платье со шлейфом, туфли и брала маленькую сумочку, оставляя детей с домработницей, которая тут же убегала из дома. Братишка, подхватывая в руки разобраный старенький приёмник, тихо вышмыгивал к приятелю, чтобы с ним углубиться в мужское дело, паяя проводки и перебирая важные детали. Лёлька в эти часы лежала с бьющимся сердечком, чуть дыша под одеялом, слушая, как кто-то осторожно ходит туда-сюда по скрипучему паркету в разных концах родительской комнаты, то ближе к детской, то дальше к закрытым дверям, ища свою жертву, то есть её.

Когда Лёльку перевели из начальной школы с Полтавской в среднюю на Гончарной, отец поменял две большие комнаты в сталинском доме на первом этаже на маленькую отдельную двухкомнатную квартиру на Стремянной улице на четвёртом последнем этаже, подальше от Московского вокзала, где он завершал свою непростую деятельность прокурора Московской железной дороги и готовился к свободному плаванию, планируя начать с адвокатуры. Отец обладал звериным чутьём в предвидении опасности. Суровая сталинская школа и близость к тюрьмам, лагерям и органам вышколили голодного деревенского мальчишку, сделав его недоверчивым к людям, послушным властям, уверенным во вседозволенности в пределах своих полномочий, следующим особому укладу своей «тайной канцелярии». Сокрытая от миллионов глаз оборотная трагическая жизнь народа была ему известна не понаслышке.

## ЖИЗНЬ НА СТРЕМЯННОЙ

Лёлька помнила отлично. В семье вроде бы ничего не менялось. Но холод отношений между родителями становился всё сильнее и сильнее. Квартира на последнем этаже, упирившаяся в тёмный чердак, с входной дверью, вокруг замка грубо обитой толстым куском железа, с внушительным амбарным крюком на ней, показалась ей крошечной. Двор – глухой колодец, с окнами, смотрящими в упор друг на друга, с дворовой акустикой, усиливающей любой чих и слово во сто крат. Одна комната формально считалась нежилой, так как единственное окно упиралось в толстую кочегарную трубу в тупике двора. Вторая была в два окна, откровенно смотрящими на соседские. Коридора в квартире не было. Вход через крошечную прихожую вёл прямо на кухню без окна. Отец привёл работяг с вокзала, установил ванну с газовой колонкой и скользящей по металлическим полозьям списанной вагонной дверью, как в купе. Но всё же это была отдельная квартира, в которой прошло отрочество, молодые годы и замужество Лёли, где мама дожила свой век.

Никаких скандальных сцен между отцом и матерью на глазах детей не происходило. Яростные споры по поводу служебных бумаг, тезисов выступлений, описаний преступлений, изложений аргументов в пользу или против обвиняемого и других бумаг, значительно усилились. Хохот мамы сменялся гневными речами, уговорами и призывом к справедливости. Отец, скрипя зубами и пером всё же вносил поправки. Все ли?

Мама работала в вечерней школе рабочей молодёжи. Утром школа – у детей, а вечером – у мамы. Виделись поздним вечером. Отец приходил ближе к ночи домой, сытый и молчаливый. Никаких домработниц уже не было. Лёлька с братом плыли по своей управляемой извне стезе, самообразовываясь в том, что было интересно, избегая того, что было непонятно, приглядываясь к жизни других людей взрослеющими глазами, без всякого родительского давления, контроля, навязчивой опеки и выкручивания рук. Вся семья была при деле, у каждого – своё. Жили вместе, но как-то порознь.

Мама была прекрасным преподавателем, взрослые ученики очень её любили. Когда Лёлька подросла, мама стала брать её на свои школьные вечера-встречи, в которых она увидела маму другими глазами. Её поразило, с какой теплотой и слезами благодарности подходили к маме молодые девушки и ребята. Все делились событиями личной жизни, кто – радостью, кто – бедой, кто просил совета. Мама менялась на глазах, будто отгаивала, светясь изнутри. Был у неё класс милиционеров. Это были уроки взаимного обогащения знаниями и опытом. Милиционеры души не чаяли в своём классном руководителе и преподавателе литературы. Однажды они решили сделать ей подарок от класса на 8 марта. Преподнесли огромный букет цветов и вручили какой-то объёмный пакет. Когда она, придя домой, развернула его, то они с Лёлькой обомлели, там лежала дюжина плотных шёлковых фильдекосовых чулок. Этой заботой мама была смущена и тронута до слёз. Да, от зорких глаз молодых милиционеров не могла скрыться штопка на её чулках, как и вся её трудовая и горемычная личная жизнь. Так могли посочувствовать только те, кто сами пробивались через тернии к звёздам.

В основном рабочая молодёжь дарила своим учителям на праздники хрустальные вазы. За два года этих ваз скапливалось достаточно. И когда мама раз в два года собиралась с детьми на летние каникулы в поездку во Владивосток, то эти вазы летели в комиссионки за милую душу. Бюджет семьи с годами формировался очень странно. Отец выдавал денег столько, сколько считал необходимым на своё содержание. Мама работала на двух ставках. Дети выросли, требовалось многое. Но Владивосток этого стоил. Он напитал Лёлькино благодарное сердечко неисчерпаемой добротой, нежностью и любовью к приморскому краю, родным лицам и ко всему белому свету, олицетворением которого стал для неё Дальний Восток. Домик бабушки и дедушки, овечьи тулупы на деревянном крашеном полу, густой насыщенный сад

с колким крыжовником, сказочная клубника на грядках, походы за грибами, шипящие гуси, ласковые дворовые псы и кошки, тайное крещение в бочке, бабушкины домашние молитвенные ночные службы, позолоченные иконы и толстые старинные библии, воскресные сборища родни с гитарой и песнями, смехом и юмором, город на сопках, прогулки по набережной, походы в театр, влюблённости в двоюродных братьев, дядей и сопки, море, солнце – весь этот прекрасный мир остался в ней навсегда.

Свои путешествия на поезде во Владик с мамой и братом Лёлька ожидала с нетерпением. Периодичность была связана со льготами отцу, работавшему прокурором на Московской железной дороге. Купе с мягкими диванами, ковровыми дорожками превращались почти на неделю в родной дом на стучащих колёсах с ожившими окнами, за которыми мелькали кадры городских, сельских и деревенских пейзажей, сменяющихся продолжительными калейдоскопическими картинками лесных просторов и полей с изменчивым говорящим небом, которого было так много, что у маленькой Лельки кружилась голова.

Двери всех купе всегда были доброжелательно открыты для детей. Ей казалось, что именно в этом вагоне жило счастье, и происходила настоящая жизнь. Мама была удивительно спокойна, умиротворена и внутренне наполнена радостным волнением, которое передавалось детям. Лёлька с братом прилипали носиками к стеклу и смотрели долго-долго на летевшие мимо них деревья, просёлочные дороги, густые тёмные леса, уходящие за горизонт поля под огромным манящим к себе небом с ослепительным солнцем или низкими тучами. Лёльку особенно притягивал алый закат, при котором с одной стороны вагона ложились длинные подвижные тени, а другая сторона, сливаясь с тенью, приближалась лесным монолитом к убегающему от неё вагону. Она обожала ритмичный стук колёс. Вагон казался надёжным укрытием от всего тревожного, защитой от преследовавших её страхов, неуязвимой опорой и просто самым лучшим местом ожидания счастья.

Короткие остановки где-нибудь в небольших посёлках нравились больше, чем в крупных городах, так как к вагону бежали бабы и мужики в простой одежде, держа в руках дымящуюся горячую картошку, отварные крупные яйца, крынки с молоком, ряженкой, сметаной, блины, пироги, мочёные яблоки, солёные огурцы, запеченную в русских печах куру и даже клубнику. Вместе с ними к вагонам рысью бежали дворовые псы, радуясь неизвестно чему, виляя хвостами и улыбаясь приоткрытой пастью с высунутыми языками. Для этого случая Лёлька с мамой приберегали косточки и всякие съестные отходы, в том числе и хлебные. А на заборах и деревьях сидело множество птиц, привычно наблюдая с высоты за тем, что происходит, дожидаясь своего часа, когда с гудком паровоза отъедет состав и схлынет толпа от рельсов, чтобы прочесать песчаную утоптанную платформу своими ненасытными клювами, не оставляя ни крошки от этого спонтанного крикливого торопливого рынка.

Перед глазами у Лёльки до сих пор стояли эти лица, полные надежд и просьб купить именно у них что-либо. Люди перекрикивали друг друга, толкались, оттесняли от вагонов молчаливых и стеснительных. Тянулись руками с мисками и пакетами к открытым стёклам вагонов к тем, кто не выходил, настырно протягивая свой немудрёный товар в руки городских женщин в ярких шёлковых халатах и мужчин, все, как один, одетых в ненавистные для Лёльки полосатые домашние пижамы, из-под которых виднелся волосяной покров. Мама выбирала самых тихих, кто стоял в сторонке и никогда не прогадывала с качеством, вкусом и ценой, давая без сдачи с лихвой. Лёлька с братом высматривали мужиков, продающих детские поделки, глиняные свистульки, соломенные мячики на резинках, даже маленькие тряпичные куклы. Увидев их издали, они верещали, стоя около проводника на ступеньке своего вагона, показывая маме, куда бежать. Это было счастьем и настоящим раем для их детских душ.

С возрастом эти детские ощущения её не покидали. Те же открытия мира, та же загадочность пути, те же станции с продавцами. Только попутчики стали разными, не единой семьёй, а раздробленными ячейками, как в беспокойной коммунальной квартире. Лёлька пристрасти-

лась во время пути рисовать карандашом с натуры спящих соседей, интерьер вагона, оконные пейзажи, предметы быта. Сходство было явное. Она не понимала, как это у неё так получалось. Мама гордилась, а ей было интересно вот так жить, на колёсах, мчась в неизвестное будущее, мечтая о любви.

Красивая семейная пара из соседнего купе частенько просила Лёльку посидеть у них с полугодовалым сыночком, пока они ходили в вагон-ресторан обедать или ужинать. Она с радостью соглашалась, играя роль опытной мамыши перед младенцем, который никогда при ней не плакал. В вагон-ресторан они ходили с мамой очень редко, в основном на завтраки. К этому походу готовились, как в театр. Там было шикарно, дорого и любопытно, так как люди из доступных превращались в чопорных, так казалось Лёльке в непривычной обстановке.

Некоторые названия станций она помнила до сих пор, так как они вызывали у неё своеобразную ассоциацию. Подъезжая к станции «Тайга» маленькая Лёлька с удивлением замечала отсутствие непроходимых лесов, а на остановке с любопытством и уверенностью ожидала увидеть большого медведя у вокзала. На станции продавали много орехов. Однажды поднесли клетку с белочкой, и Лёлька от жалости к зверьку заплакала.

Станция «Зима» радовала бурной жизнью. Но Лёльке почему-то казалось, что её обманули. Зимы на этой станции никогда не было и не будет. Как под таким ярким жарким солнцем могла жить зима? В её воображении такое название предназначено для злой Снежной королевы из сказки Андерсена. А себя с братом она представляла Гердой и Каем. В её головке под стук колёс рождались красивые истории спасения друг друга на станции «Зима», вечно погружённой в снега.

Название городской станции «Чита» смешило маленькую Лёльку, так как её частенько называли мартышкой и читой. Только никаких мартышек и обезьянок там она не видела. А речек под названием Зима и Чита, как объясняла ей мама, она не видела, сохраняя свои версии.

Разве можно забыть название станции «Ерофей Павлович». И никакие мамины объяснения, что в этой местности проживал русский землепроходец Ерофей Павлович Хабаров, открывший эти земли, не помогали. Лёлька называла Ерофея Павловича своим дедом морозом, так как рядом поселилась зима.

Запомнились названия таких станций, как «Ледяная», «Завитая», которые она связывала со Снежной королевой.

Ну, а станция «Хор», конечно, не от реки несёт своё название, а от того, что все поют там хором: и люди, и птицы, и звери, – упрямо думала Лёлька.

Большую остановку в течение часа в городе Хабаровск Лёлька помнила отлично. Маму там ожидали её студенческие подруги. Каждый раз это был настоящий обвал радостных слёз, судорожных со всхлипами объятий, восторгов, счастливых сумбурных речей, обмен подарками и тисканье Лёльки с братом до изнеможения. Мама молодела на глазах, но почему-то, улыбаясь, всё время плакала. Поезд отходил под печальное прощание подруг, которые не могли отпустить друг друга с последним звонком.

Станция «Угольная» с пятиминутной остановкой сильно волновала маму, так как именно на ней частенько встречала их дальневосточная родня, как потом узнала Лёля от мамы, когда они не успевали делать пропуска в Большом Доме для въезда в закрытый город Владивосток.

Старинный Владивостокский вокзал Лёлька знала хорошо. Ей не раз показывали выложенный камнем старый титан для воды, который сделал её дедушка. С этого вокзала она ездили на 28 километр в домик дедушки и бабушки с густым садом, небольшим огородом, домашними птицами и животными, от которых Лёльку было трудно оторвать.

Волшебные путешествия становились всё реже и реже, а потом и вовсе прекратились, когда отец ушёл со своего поста.

В Ленинграде мама подружилась с преподавательницей музыки, которая стала давать ей уроки вокала, аккомпанируя на пианино. Лёлька в этой квартире впервые услышала и ощутила, какой силы и глубокого звучания был мамин голос – меццо-сопрано, несмотря на непрекращающееся нервное курение. Сведущие люди говорили, что погиб большой талант. Мама воспарила, загорелась покупкой пианино для себя и для детей. Лёлька помнила, как они с мамой бегали отмечаться в очереди на пианино «Красный Октябрь» в садике на углу Стремянной и Дмитровской улицы ещё задолго до переезда на Стремянную. Когда привезли инструмент, радости не было предела.

## ЧЁРНОЕ СВЕРКАЮЩЕЕ ПИАНИНО

привнесло в их жизнь непередаваемые ощущения открытия и постижения чего-то важного, высшего, наполняющего смыслом будничную жизнь. К маме пришла вторая молодость. А Лёлька стала постигать азы музыкального искусства с самозабвением и восторгом у частного преподавателя. Серьёзно учиться музыке ей не пришлось, несмотря на страстное желание. Музыкальную школу переросла, а до уровня училища ей было не подняться. Время ушло. Так и осталась дилетантом, преклоняющимся перед божественной музыкой, разрывающей её душу на части непостижимым для неё гармоническим звучанием. Оказалось, что у неё был музыкальный слух и даже голосок, которым она иногда подпевала маме. Брат категорически отказался брать уроки. Мама не настаивала. А отец, скептически поглядывая на маму, советовал сыну: «Учись играть на гармошке, и все девки будут твои!»

В её дилетантской игре на пианино на уровне начальных классов музыкальной школы появились нотки душевных переживаний и музыкальных прочувствований несложных классических произведений, несущихся с её раскрытого на четвёртом этаже окна в переполненный звуками двор. Иногда, услышав льющуюся из квартиры мелодию, робко звонили в дверь соседи – брат с сестрой, оба дауны – с мольбой в глазах просились посидеть рядом с играющей Лёлькой. И она им никогда не отказывала, сажала своих единственных слушателей на диван, вдохновляясь их благодарным вниманием.

Когда у Лёльки было плохое настроение или она заболела своими частыми ангинами, то мама клала её голову к себе на колени, накрывала сверху подушкой, на подушку клала гитару и начинала тихо петь, перебирая мелодичные струны. Невыразимое счастье ощущала Лёлька в эти минуты, утопая в бархатных звуках семиструнной гитары, слыша откуда-то с небес мягкий, ласковый, добрый и звучный мамин голос. Хотелось плакать и раствориться в этих волшебных аккордах. И ничего не было слаще этих мгновений единения с мамой и далёкой музыкой, проникающей с небес.

Лёлька любила слушать мамины романсы: «Зачем, зачем любить, зачем, зачем страдать. Хочу я вольной быть и песни распевать. Пусть в шутках и цветах сон жизни пролетит, и песня на устах свободно звучит. Не надо, не надо, не надо, не надо так крепко любить. Не надо, не надо, не надо – он может тебе изменить...» Или: «Всё, как прежде, всё та же гитара шаг за шагом плетётся за мной...», «Позарастили стёжки, дорожки, где проходили милого ножки...», «Тоска по Родине», «Доченька», «Дивные очи», «Осенние листья» и много-много другого, живущего в ней до сих пор.

С годами, соприкасаясь с классическими произведениями, она всё более утверждалась в мысли, что всё же прекраснее всего на земле – музыка. Велика её магия, язык её понятен всем живым существам. Её многоликость потрясает – она необъятна, беспредельно расточительна и великодушна. Её поражало – откуда в человеке таится такая гармония звуков, каким образом зарождается божественная мелодия в нём?! Это тайна. А слова – вторичны. Словами воздействуют, играют, любят и убивают, запутывают и обвиняют, возвеличивают и уничтожают. Слова неразрывно связаны с противоречивым мозгом – источником слов праведных и неправедных. Никто не знает, слушая слова, где правда, а где ложь, и где их золотая середина. И всё же прекраснее всего на земле – музыка!

Свои школьные годы Лёлька переносила, как неизбежное мучительное испытание, оставившее двойственное противоречивое чувство умственной закомплексованности и духовной раскрепощённости. После окончания школы она чувствовала себя подобно заклёванной птице, прожившей в неволе, долго стоящей перед открытой клеткой, не решающейся вылететь из неё в пугающую неизвестную свободу.

## II

Лёля находилась в каком-то лёгком неуловимом состоянии, притупляющим остроту действительности, позволяющим бесстрастно перебирать воспоминания, которые помимо её воли молниеносно прокручивались в голове, пока она ехала в такси с сыном.

– Это надо же, что высвечивает память, – думала Лёля, с трудом выбираясь из поглотившего её потаённого прошлого, – будто всё это было буквально вчера.

Посмотрела на неподвижный затылок молчаливого сына и стала задавать самой себе разъедающие душу мучительные вопросы: «Что делать? А ничего нового и не придумаешь, – отвечала сама себе, – вот только как добраться до этого решения, чтобы оно исходило, как бы, от него самого, без давления, без родительского шантажа, без криков, слёз и скандалов его жены, вдоволь настрадавшийся со своим первым мужем – наркоманом, уже почившим вечным сном.

Неразрешимая человеческая проблема тяжелела с годами, сжимая внутренности в болезненный кулак. За что зацепится, как исправить неисправимое, как излечить неизлечимое, как порвать цепь генетических зависимостей, разъедающих нутро родного человека? Волна материнских тревог может сама по себе внезапно нахлынуть, будто по чьему-то роковому сигналу, данному свыше, вызывая болезненные спазмы, гнетущий страх и головокружение. Опять перед глазами бездна, перед которой ты слаб и бессилён, но в которую ты ныряешь с замиранием в сердце и с молитвой на устах.

Мрачность сына усиливалась от съедающей его вины перед матерью, от внутреннего состояния бессилия и нежелания что-либо предпринять, от невозможности спрятаться от ясной, режущей глаза, правды, от неудовлетворённости вялотекущей жизни, перемежающейся возбуждением и апатией, убивающей на корню все благие посылы к активным действиям, укрепившим бы его мужской характер, в котором всё ещё жили необходимые качества для кардинального сдвига судьбы в иную созидательную плоскость.

– Спасибо, надеюсь на лучшие времена, – произнесла Лёля, пытаясь заглянуть в глаза сыну, выходя из машины с тяжёлым сердцем.

– Меня и эти устраивают. Отцу привет, – бросил сын и затрусил к троллейбусной остановке.

Лёля тихо открыла двери, раздевшись, обессилено рухнула на табуретку и застыла в полном душевном опустошении. Знакомое, годами не проходящее, ноющее чувство тревоги, свербило её измученные внутренности, будто вытягивая их изнутри, наматывая в болезненный клубок, тянущий в тёмную неизвестность. Послышались неторопливые осторожные шаги мужа, который выплывал из своей комнаты старым тихходным внушительным лайнером, остерегаясь резких движений и поворотов по состоянию своего полного износа узлов и механизмов когда-то мощного организма.

Муж, переживший многочисленные операции, со швами вдоль и поперёк большого тела, выстоявший против двух обрушившихся на него инфарктов и одного инсульта, полностью ослепнувший на один глаз, с остаточным от глаукомы зрением, позволяющим, слава богу, хотя бы читать одним глазом электронную книгу с увеличенным жирным шрифтом, волнуясь, подошёл к Лёле.

– Как ты? Голодная? Я места себе не нахожу. Дай почитать заключение, что там обнаружили, уверен – всё в пределах возрастных изменений.

– Примерно так и есть. Основное – это гистология, позже, – ответила Лёля и передала ему бумаги.

– Запомни, – сказал он шутливо, – в этом доме есть один больной, это я, а тебе болеть категорически запрещено, иначе – мне каюк.

– Не шантажируй. Ты ещё меня переживёшь, сам знаешь, что меня точит.

– Выкинь всё из головы. У него своя голова на плечах, своя жизнь, о которой мы почти ничего не знаем. Главное, что мы вместе и живём отдельно, да ещё в такой отремонтированной красоте, благодаря твоему терпению и дикому упорству.

– И всё же это не главное. Только бы на душе было покойно, – ответила Лёля и посмотрела потеплевшими глазами на преображённую год назад квартиру.

Как она смогла это осилить и почему решительно сказала, что ремонт надо делать именно сейчас или никогда, да ещё и после второго инфаркта мужа, зная, что он вообще не переносил даже просто это слово – «ремонт» всю их длительную многострадальную супружескую жизнь, она до сих пор не понимала. Но точно и беспрекословно услышала сигнал свыше к действию, определив последние финансовую и физическую возможности в этот период жизни. Она интуитивно готовилась к достойному входу в свой последний жизненный этап бытия с мужем, предчувствуя отторжение эгоистичной молодости от дряхлеющей старости, выстраивая «свою крепость» оборонительной независимости от внешнего мира, без унижительного ожидания звонков разрушительной силы или проливающихся быстроиспаряющимся лечебным бальзамом на их истрёпанные нервы, что случалось реже.

Ворох ненужных вещей, поглощающих запылённое пространство протечных комнат, давил многолетним грузом на психику, ослабляя дух и тело, скрепляя хрупкими узами союз, трещащий по швам восемь утомительных пятилеток. Хотелось начать новую жизнь, вычистить въедливую память от тревожащих душу болезненных воспоминаний, спрятаться за толстыми каменными стенами и растворится в их защитной тишине.

Ремонт в доме стал для Лёли переворотом в сознании, переосмыслением прошлого, волной неожиданных разбуженных чувств, провалом в глубокие тайники памяти, возвратом к необратимому, преодолением собственной захламлённости и ненужного скарба, стремлением к свободе, к разрыву прошлых цепей и бегу к новым. Какое наслаждение выбрасывать останки прежней жизни, не оправдавшие надежд, топтать их мысленно и воочию ногами, горько прозревая через своё обрётённое когда-то песочное счастье.

– Телефон надрывается от постоянных звонков. Хорошо, что сломанный автоответчик на пятом звонке обрывает связь, а то бы звенел часами, – пробурчал муж, глядя на Лёлю испытывающими подслеповатыми глазами, понимая, что он не властен изменить ход событий, обрушивающихся на хрупкую, будто тающую фигурку жены.

– Да ладно, справимся, не бери в голову, – ответила Лёля и пошла на кухню ставить чайник.

Всю свою сознательную жизнь, так почему-то получалось, Лёлька несла на себе бремя чужих проблем, в которых она утопала с головой, стараясь разрешить их, принимая на себя массу мелких и крупных забот в ущерб своим интересам и интересам своей семьи. Мужа это бесило. У него просто в голове не укладывалось, зачем она это делает, не получая ничего взамен, зачастую даже простой человеческой благодарности. Эти люди, подобно пиявкам, питающимся кровью, пользовались её мягкосердечностью и податливой жалостью. Он считал её неисправимой душой, видя зачастую корысть этих людей, раздражаясь всё сильнее и сильнее от того, что она не внимала его суждениям, тратя время и силы на пустое.

Она сама недоумевала, откуда эта нелепая безотказность в выполнении людских просьб, звучащих для неё, как приказ свыше. Не умела отказывать в лоб. В результате чужие проблемы облепляли, затягивая её с головой. На их разрешение она тратила уйму времени и сил, да ещё и получала заслуженно от мужа незаслуженные по сути словесные оплеухи. Ни вырваться из плена жалостливого участия, ни изменить свою натуру она не могла. Легче сделать, тяжелее отказать.

Лёлька была рабой своей безотказности. Она прекрасно видела и чувствовала этих людей, поглощающих её энергию, как вампиры, но ничего поделать с собой не могла, так как

в критические минуты, в ней пробуждалось что-то особенное, какая-то внутренняя сила и уверенность, двигающая её поступками и словами, необходимыми этим, попавшим в западню, людьми. Может быть, это было частью её миссии на земле, трудно сказать, но никогда она не сожалела о потраченных силах, более того, она испытывала глубокое удовлетворение от свершённых бескорыстных дел.

Зачастил короткими междугородними звонками телефон.

– Началось. Нет ни дня покоя. Опять твои пиявки звонят, – заворчал муж и сел поближе к телефону, чтобы от нечего делать послушать разговор, что так раздражало Лёлю и сковывало при разговоре. Она подняла трубку и услышала возбуждённый крикливый голос Сени из Москвы.

– Елена Сергеевна, я веду свой репортаж с Красной площади после шикарного филармонического концерта. Был в Третьяковке, пробился в Академию наук на открытую конференцию. В Академии продаются корочки для кандидатских дипломов от 300 до тысячи рублей. Майка мне выдала очередную мизерную сумму на день, но мне же надо питаться, а всё так дорого. Хотя она и купила мне проездной, наготовила дома еды, но не бегать же мне через всю Москву пожрать. Я всё узнал, сколько надо для защиты докторской. В районе двухсот тысяч рублей. В библиотеке РАН спустил все деньги на ксерокс. Срочно вышлите мне пару тысяч до востребования. Мне нужна корочка для кандидатской. Вы меня слышите? Без неё просто не пускают в Академию...

Сеня тараторил без умолку, а Лёля молча слушала его визгливый голос, еле сдерживая своё нарастающее раздражение.

– Сеня, мы тебя всем миром собрали, дали деньги в дорогу, не прошло и двух дней, как ты кричишь «сос», хотя живёшь у родственницы на всём готовом. Попроси у Майи, с ней по твоим расходам по договорённости будет рассчитываться Фрида. Высылать ничего не буду, и отцу не звони, у него ничего нет, – как можно спокойнее произнесла Лёля.

– Что вы все меня унижаете, заставляете в ногах валяться, меня, учёного, для которого все двери открыты. Пусть Катерина у отца возьмёт старинные чашки и снесёт в антиквариат. Вот вернусь и возьму кредит. Не нужна мне Фрида, которая ограбила меня при разводе, а теперь выдавливает по капле. Ничего, она скоро за всё ответит. – И, засмеявшись, зашептал в трубку, – Я тут на Лубянке нашёл ящик для разных жалоб, посланий и доносов, вот туда и сунул свою жалобу на гражданку ФРГ, которая лишила и лишает меня собственности.

– Сеня, успокойся, ты говоришь со страшной одышкой. Я сейчас сама позвоню Майе, и она тебе даст на корочку. Ты лекарство принимаешь?

– Что ты меня этим лекарством тычешь. Я здоров, а больной я тогда, когда в больнице, – уже более спокойно произнёс Сеня, добившись своего.

Лёля тут же позвонила Майе, которую в буквальном смысле трясло от незваного далёкого родственника, и попросила её съездить вместе с Сеней в Академию, купить ему эту злосчастную корочку, билет на обратную дорогу, а главное посадить его в поезд, не отходя от вагона, так как он может придумать любую историю с пропажей билета и вернуться неожиданно назад.

Фрида, бывшая жена Сени, давно живущая в Германии с их дочерью и вторым мужем, держала плотную связь с ним, контролируя его целевые передвижения по ежедневно составляемым им утренним планам, очеловечивая его одинокое существование, гася его затраты и подключая своих знакомых за определённую плату к заботам о его быте. Жизнь Сени уже лет двадцать пять шла по спирали – виток на свободе, виток в психиатрической больнице. Адекватное состояние сменялось депрессией или эйфорией с маниакальным психозом. Лёля получила Сеню, почти одного с ней возраста, из рук в руки от его отца Давида Лазаревича, известного в искусствоведческих кругах метра, которому уже за девяносто и которому Лёля была благодарна за подаренную им новую одухотворённую творчеством жизнь, скреплённую глубокой личной симпатией.

Лёля попила чаю, дала лекарство мужу, снабдив его на ночь двумя огромными кружками с водой, смыла с себя дневные запахи и закопалась в своей норке под тёплым мягким одеялом на жёсткой тахте с книгой в руках. Так и застыла, держа книгу раскрытой, прислушиваясь к затихающим звукам в бессонной тишине. За окном устало вздыхал царственный город, умиротворяя шелестящим звуком автомобильных шин, похожим на ритмичные всплески морского прибоя. Лёля представляла каменные дома, стоявшие как скалы с окнами, словно выдолбленными ветрами, миллионами птичьих гнёзд. В домах попрятались люди, закрывшись на замки друг от друга и от неотвратимого, притаившегося за дверями, выжидающего своего часа. Ещё одна бессонная ночь впереди. Главное – слышать живое дыхание рядом и ничего более не желать.

Входящая в её покои ночь дарила ей долгожданное единение со своими мыслями, с осколками прожитого дня, которые цеплялись острыми рваными краями за живую плоть, болезненно царапая сердце и бередя чуткую душу. Небо незримо нависало мрачной безысходностью, не давая мертвенному лунному свету ни малейшего шанса выглянуть из-за плотной завесы монолитных туч, похожих на налитые слезами гигантские небесные веки. В этой ночной тишине высвечивалась правда произошедших за день событий, спадала с глаз пелена ложной важности и значительности совершённых поступков. Расплата за слова и действия этого дня придёт в своё ответное время. А пока можно бесцельно парить в эфемерном потоке призрачного ночного существования, с наивной уверенностью в бессмертии собственного «Я» и бесконечности отпущенных дней.

Беззвучно приоткрылась дверь, просунулась голова мужа, который пропел с ядовитым акцентом:

– Да, забыл, ещё одна пиявка тебе звонила, одноклассник Ромка, сказал, что ждут тебя в понедельник в школе к двум часам на открытый урок одиннадцатого класса, куда привезут вашу учительницу литературы, которой за девяносто. Когда это закончится?

– Ни-ко-гда, – пропела в ответ Лёлька и уплыла мыслями в свои школьные годы...

## НАЧАЛЬНАЯ ШКОЛА

на Полтавской почти не оставила никаких следов в памяти у Лёли, кроме милого облика первой учительницы Леры Михайловны, горемычного стояния со слезами перед напольными счётами и влюблённости в хулигана Витьку, который выражал свои знаки внимания дёрганием косичек и хвостиков приглянувшихся девчонок. Когда Витька неожиданно за спиной больно дёрнул Лёльку за жидкие короткие косички, она почувствовала гордость от собственной значимости и сразу в него влюбилась.

После четвёртого класса её перевели в девятилетку на Гончарной, где она получила более разнообразные впечатления, несмотря на их чёрно-белую эмоциональную окраску. Что говорить, учёбу она воспринимала, как пытку, прячась от невыученных предметов, списывая напропалую домашние задания, решая контрольные в классе со шпаргалками или учебниками, зажатými между колен под партой, дрожа, как заяц, от движущейся по журналу руки преподавателя, выискивающего очередную жертву для ответа у доски. Нельзя сказать, что она была глупа, нет, она просто не умела организовать себя дома, откладывая главное на потом, вернее на ночь. А главным было то, что было не понято, пропущено и запущено со временем. К приходу родителей она сидела за круглым столом, бессмысленно глядя слипающимися глазами на учебники и тетрадки, с неначатыми уроками, которые никого из домашних не интересовали. Зато она обожала делать доклады по природоведению, разрисовывать стенгазеты, выпекать печенье на уроках домоводства, петь в хоре и ухаживать в школьном зооуголке за пугливыми кроликами.

Свою школу она любила и избегала одновременно. Любила за большое количество друзей, которые ценили Лёльку по-своему, тянулись к её незлобивому доброму нраву, давали списывать, привлекали к своим играм и тайным любовным перепискам, от чего ей за партизанское молчание не раз попадало от директора – строгого блюстителя нравственности подопечных.

Лёлькино своеволие на фоне сомнительной успеваемости было наказано тем, что её не приняли в пионеры со всеми, не повязали торжественно алый галстук на шею, как всем в праздник Великого Октября перед линейкой, выставив публично изгоем. Она обливалась горячими слезами от обиды и унижения, прячась за клетки с покорно жующими морковку кроликами на школьном дворе. Позже, когда она примирилась со своим статусом изгнанника, ей сунули, как милостыню, галстук и значок в руки, только усилив чувство ущербности перед самой собой.

Это унижительное чувство ущербности преследовало её долгие годы, подспудно ища выход в фантастических снах, в лабиринтах которых она почти всегда непроизвольно находила выход из тупиковых ситуаций, освобождаясь от гнетущей зависимости. Сны она не видела, она их проживала как свою вторую зазеркальную действительность, считая их органичной частью протекающей жизни.

## СОН О ШКОЛЕ

увиденный ею через много лет, высветил её потаённые мысли и переживания:

*Во сне она увидела свою родную школу на Гончарной улице. Волнуясь, вошла в неё, и её охватило давно забытое чувство неуверенности, страха и унижительного бессилия. Толстые и низкие гладкие колонны в холле, торжественная широкая мраморная лестница, ведущая в переполненные гудящие классы, давили на неё, пугая непонятными науками, под угрожающими взглядами вечно недовольных учителей. Как всегда, у лестницы сидит дежурная – спокойная пожилая женщина. За её спиной стоит девочка лет двенадцати с круглым румяным лицом и бойкими блестящими бесцветными глазами, которые тут же впились в неё со странным любопытством и чрезмерным вниманием. Лёлька спрашивает у дежурной можно ли пройти. Дежурная, продолжает молча смотреть на неё, не отвечая. Девочка оживилась и радостно предложила проводить её, куда надо. Она соглашается. После чего девочка мгновенно подпрыгнула, подбежала к ней и неожиданно крепко схватила за правое ухо, больно потянув за него к лестнице. Лёля опешила и поняла, что девочка хочет вот так, на глазах у всех, протащить её, взрослую, по школе, чтобы осрамить, высмеять и унижить. От возмущения, стыда и боли кровь прилила к лицу. Она решила, что не тронется с места. Стала вырываться, но ничего не получалось. Девочка, схватившись своими цепкими пальцами, с наслаждением повисла на ухе. Тогда Лёля стала с яростью бить её голову своей. Она билась с безумной силой, стучалась лбом о её голову, пытаясь вывернуться и освободиться, испытывая наслаждение, не чувствуя боли. Потом в отчаянии и гнев стала колотиться головой о дверной косяк. Дежурная даже не шелохнулась. Она делала вид, что ничего не видит. «Да этой девочки здесь, в школе панически боятся, – поняла Лёлька. Пронзила мысль: Она здесь специально поджидает жертв». Неожиданно появился директор с военной выправкой. Девочка быстро спрятала свои руки за спину. В ту же секунду Лёля схватила её за скрепленные руки, сжала, что было силы, и сказала твёрдым голосом: «Теперь ты будешь делать то, что я велю». Главное – почувствовала она, не отпускать рук, в них вся её сила. Она внимательно посмотрела на её зажатые в неудобной позе руки и испугалась, то были руки не ребёнка. Она держала чёрные мохнатые руки с длинными цепкими скрюченными пальцами, вместо ногтей торчали острые когти. Теперь понятно, почему невозможно было вырваться – её держали дьявольские руки. Она сжала когтистые пальцы ещё сильнее, специально пригнув её тело к лестнице. Глаза девочки забежали и стали жалобными, она поскуливала и просила отпустить на время руки, чтобы удобнее встать. Это была уловка, чтобы вновь впитаться в Лёльку дьявольскими когтями, наслаждаясь её унижением и бессилием. «Нет, – сказала Лёля, – теперь ты у меня в руках». И повела её по школе с чувством освобождения от долго мучавшего её, пылающего стыда и унижительного безысходного страха.*

Перенесённые публичные оскорбления породили ответное неприятие ко всем общественным массовым организациям, в том числе и к комсомолу, в который она даже не делала попыток попасть, избегая настоячивых агитаций и комсомольских собраний, настораживая впоследствии кадровиков, читавших её анкеты после окончания школы с пустой графой о членстве ВЛКСМ. Что, впрочем, не мешало ей потом стать членом КПСС по настоянию и уговорам парт-орга крохотного заводика местной промышленности, не взирая на её честное признание, которое он исправил одним росчерком пера, поставив утвердительную галочку в графе ВЛКСМ и период пребывания – наобум. Так надо было из-за профсоюзной работы, к которой у неё были уникальные данные, для самоотверженной защиты трудового народа от бюрократической номенклатуры, с негативными последствиями и накоплением горького жизненного опыта.

В школе на Гончарной она долго и безответно была влюблена в отличника Женьку Комарова, с военной выправкой, кучерявыми каштановыми волосами, подобранного, свежего и такого классного парня, от которого у неё замирало сердце и сохли губы. Это было одним из весомых радостных стимулов посещения школы. Привлекал также зооуголок. Перед всей живностью на свете Лёлька была беззащитна, чувствуя к ним непреодолимую тягу, восторженную любовь и безграничную жалость, которая распространялась и на хищников на свободе и в клетках, и на домашних питомцев. А потому на неё скинули все заботы по уходу за школьными кроликами, последнее кормление которых приходилось на пять часов вечера. Клетки находились в школьном дворе на открытом воздухе. И Лёлька несколько лет, несмотря на тёмное время зимой, непогоду и любое настроение, уже вернувшись с уроков домой, шла опять к пустой школе, чтобы вычистить клетки и дать корм брошенным кроликам, которые ждали её, благодарно тычась ей в руки и к щекам своими влажными подвижными носиками и мягкой шелковистой шкуркой. Уходя со школьного двора, она с надеждой смотрела на Женькины окна напротив школы, представляя в своих мечтах, как он случайно выбежит ей навстречу, спросит, что она делает так поздно около школы одна и проводит её до дома на Стремянную, болтая ни о чём, а потом предложит ей сесть рядом с ним за парту. И тогда она станет грызть школьные науки так, что всем докажет, что она не дура. И действительно, через много лет, уже имея на руках маленького сына, впустив в себя нежданно-негаданную любовь молодого коллеги, на этой эмоциональной волне сумеет доказать себе и всему миру, что она отнюдь не дура, – поступит и закончит с красным дипломом Индустриальный техникум и, вопреки протесту мужа, два экономических института, поглядывая с тайной надеждой на заочное отделение факультета искусствования Академии художеств.

## ДОРОГА В ШКОЛУ И ИЗ ШКОЛЫ

с переездом на новую квартиру на Стремянную улицу, стала для Лёльки сущим испытанием, расшатавшим её нервы до предела. Путь к школе на Гончарную улицу проходил мимо Московского вокзала, где обитало немыслимое количество проституток и пьяных мужчин разных социальных уровней – от уголовников до командировочных, приличных на вид. Но самыми омерзительными были мужчины с отрешёнными застывшими глазами, державшие дёргающиеся руки глубоко в карманах брюк или пальто, неотступно следующие за ней чуть ли не до самой квартиры. Она видела таких ещё у привокзального ведомственного дома, но была, видимо, мала для них и бесполезна. Лёлька чуяла их за версту, но робела и стеснялась позвать кого-нибудь на помощь в критический момент. На улице она непрестанно крутила головой, затравленно оглядываясь, будто ненароком, назад, напрягаясь всё сильнее с приближением к арке дома. Она понимала, что во двор-колодец сходу идти опасно, а потому проходила мимо своего дома, заходила в телефонную будку, выжидая удобный момент, чтобы добежать до арки дома, пока вблизи не было прохожих мужчин. Но иногда эти уроды неожиданно настигали её в тупике двора в глухой парадной для чёрного хода с узкой крутой лестницей, распахи-вали полы пальто, требуя смотреть на их обнажённые гениталии, вызывая отвращение и ужас. Постоянное нервное напряжение сказалось на её психике. Она заболела манией преследования, стала бояться выходить из дома, забросила кроликов и погрузилась в мрачное душевное оцепенение, кормя только бездомных кошек во дворе и на лестнице у своих дверей, которые сбегались с чердака молниеносно на её голос и встречали во дворе с поднятыми вверх хвостами. Брат смеялся над её страхами, а родителей днём и вечером не было дома.

Но самые жуткие сцены она пережила с уголовниками, когда за ней неслышно, не бежали, а будто летели по воздуху через две высокие каменные ступени узкой лестницы, бритые мужики в ватниках. Она помнила, как сейчас, страшное хриплое дыхание, приближающееся за спиной. У неё леденело нутро, немел язык, дрожали ноги, которые двигались, как заведенные механизмы, перепрыгивая через две ступеньки на самый верх, с поднятой выше колен модной узкой юбочкой-бочонок. Оставалась только одна надежда на руки, цепляющиеся до судорог за чугунные тонкие перила чёрной лестницы. Уж, от перил, думала она, её не отдерёшь никогда. Только у своей двери, за один пролёт до неё, а выше – открытый зев тёмного чердака, у неё прорезался пронзительный до жути, будто не свой, голос, такой мощи, что уголовник мгновенно, также неслышно, слетая через две ступеньки вниз, выскочил в пустой двор.

– Ма – а – а – а! – звенело эхом через открытые лестничные окна на весь каменный двор-колодец, который словно сам замер от страха за открытыми чугунными воротами. На бегу, она умудрялась судорожно звонить в немногочисленные квартиры. Никто не выходил. И у неё в квартире было пусто. Лишь на следующий день соседи любопытствовали, выпрашивая о крике. Такой, будто не её, голос она слышала у себя во второй раз только в роддоме, при рождении сына.

Ощущение постоянной опасности исходило от этих чёрных лестниц, каменного, будто тюремного, двора, от хлипкой деревянной двери с огромным кованым крюком, от близости чёрного, пахнувшего кошками, чердака. Всё это возвратила ей память через годы неожиданным сном:

*В её старой квартире с маленькой прихожей, переходящей в кухню без окна, видна тяжёлая деревянная дверь, обшитая снаружи толстым металлическим листом с увесистым крюком внутри. Дверь притягивает к себе мнимым богатством, которая она якобы хранит. Глядя на эту нелепую дверь, она испытывала чувство неловкости, как от вранья, когда ему не верят. Её удивляет, как старая дверь выдерживала на себе набитый прежними хозяе-*

вами толстый металлический лист. Замок в дверях хлипкий и часто ломался. Одна надежда на огромный крюк, если не забыть закрыться на него изнутри.

Она стоит у дверей, прислушиваясь к тревожным шорохам на лестнице. Последний этаж. Наверху чердак, куда зачастую пробирались странные люди. Вдруг дверь стала раскачиваться вперёд и назад, пока не появилась щель, откуда просочилось длинное лезвие ножа, которое пытались просунуть под крюк, чтобы снять его с петли. Она хватается за ручку и изо всех сил, упираясь ногой в стену, старается прижать дверь к косяку. Слышит голоса: «Быстрее, быстрее...» Там их много, понимает, что дверь не удержат. Её охватывает жуткий страх. Мысль одна: «Зарыться, спрятаться, бежать, но куда?» Немеет тело, отнимается язык. И в тот момент, когда дверь распахивается, выпуская бегущие мужские фигуры в ватниках, она взлетает, расставив руки, под потолок и там замирает. Они, молча угрожающе ищут её, ругаясь в полголоса, что добра-то стоящего нет, но поймать её надо.

Вдруг кто-то случайно смотрит на потолок и, увидев её, орёт истошным голосом: «Ловите её!» Она стала испуганно летать под потолками всех комнат, пока не увидела в коридоре распахнутую форточку, через которую молниеносно вылетела на свободу и стала радостно парить над своим двориком, похожим на колодец, внизу которого играли в настольный теннис знакомые ребята и девчонки.

Она летала, как чайка, неподвижно расставив руки, наклоном которых выбирала желаемое направление. Тело, опираясь на воздушные потоки, было неподвижно и невесомо, взмахи рук были редки и уверенны. Чем выше Лёля взлетала, тем сильнее и сластнее замирало её сердце.

Наконец, она тихо и плавно приземлилась в свой дворик, к ребятам и девчонкам. Ах, как она всегда мечтала быть на них похожей, так же бойко играть в теннис с напарником, громко смеяться и умело целоваться в парадных. Они не удивились, увидев её рядом, просто подумали, что не заметили раньше. Безумная радость от полёта заставила её забыть о ворвавшихся уголовниках. Она нетерпеливо выжидала момент, чтобы поделиться с ребятами радостью. Жаль, они не видели, как она летала. «Я умею летать, – сказала она. Они не поверили и захохотали. – Хотите, я взлечу?» – сказала она и испугалась, вдруг не получится. Но, взглянув на небо, расставила руки, глубоко вздохнула, присела и, сильно оттолкнувшись от земли, подпрыгнула и полетела, помогая себе руками, часто взмахивая ими, пока не поднялась на высоту. Там, наверху она вновь ощутила сладостное ёканье и замирание сердца. Она поднялась над крышами домов, над высокими старыми городскими тополями, испытывая небывалое блаженство и счастье.

Потом с гордостью приземлилась во дворик, не чувствуя никакого превосходства, и предложила научить летать всех вместе. «Это так просто», – сказала она. Ребята и девчонки пытались повторять её движения, бестолково подпрыгивали на месте, вращая руками, как пропеллерами, мешая и крича друг на друга. Но тщетно. Ничего у них не получалось. Тогда они, собравшись в кучку, как-то странно посмотрели на неё и сказали: «А ну-ка лети и повыше, мы ещё раз посмотрим». Она медленно, стараясь показать все нехитрые движения, взлетела ввысь, исполняя разные пируэты в воздухе и забыв про всё, стала бесстрашно летать над городскими куполами и шпилями, над широкой извилистой Невой, потеряв из виду свой маленький дворик.

Когда она снова стала приближаться к нему, с высоты он показался ей немного странным. Опустившись ниже, она увидела множество людей с копьями, палками и пиками. Они угрожающе улюлюкали и тыкали ими в небо, не давая ей приземлиться. Знакомые уголовники в ватниках судорожно бегали по крыше с огромной сетью, стараясь затянуть её весь дворик с крыши. «Что это, – пронеслось в её голове. И поняла, – это злобная зависть ребят и девчонок, а сети, – догадалась, – для того, чтобы я пала в них, когда меня оставят силы».

*Горькая обида на ребят и девочек, страх перед смертельными сетями, тоска по утраянному родному дому, беззащитность и безвыходность сделали её в один миг несчастной отверженной большой сильной птицей. Взглянув последний раз на дворик, она с шумом вспорхнула в небо, закрыв глаза от боли и тоски.*

*Когда открыла глаза, то поняла, что парит над далёкой землёй в фиолетовом пространстве, пролетая над глубинными сверкающими океанскими просторами, над чёрной землёй с зелёными неровными квадратами лесов, над жёлтыми пятнами разделанных полей, крупными и мелкими реками, по-змеиному извивающимися вокруг круглой земли, над тёмно-серыми непроницаемыми ядовитыми завесами городов, не чувствуя в сердце восторженной радости и упоения высотой. За спиной у неё – холодная бесконечность, под ней – отравленная, предавшая её, планета. Сердце замирало от страха, отсчитывая своими слабеющими ударами оставшееся время последнего полёта.*

С девятого по одиннадцатый класс Лёлька училась в школе на Невском проспекте недалеко от Стремянной улицы.

## ЖУТКИЕ СТРАХИ ОТОШЛИ В СТОРОНУ

но оставили свой неизгладимый след, сделав её предельно осторожной, психологически наблюдательной в общении с людьми в близком и чужом окружении, что не раз её выручало. У взрослеющей Лёльки началась новая жизнь, как в доме, так и в школе.

На летних каникулах во Владивостоке в этот подростковый период, она впервые почувствовала к себе необычайный мужской интерес со стороны дяди Натана, мужа её обожаемой тётки Натальи, актрисы, которая не могла иметь детей, о которых они с мужем могли лишь мечтать. Ещё в раннем детстве, по воспоминаниям мамы, они слёзно уговаривали отдать им Лёльку на воспитание, которая покорила их сердца эмоциональной непосредственностью и огромными чёрными глазами. Но этого не произошло. Дядя Натан, солидный презентабельный харизматичный еврей, не последний человек в руководстве штаба морского флота города, блистательно владевший английским языком, повидавший много стран и континентов, в том числе Америку, обладал мощным темпераментом, одесским юмором и неординарным умом. Тётушка радовалась приезду Лёльки, осыпала её подарками, к которым, несомненно, прикладывал руки и дядя Натан, приближавший к себе людей избранных, что касалось и родни. Но для Лёльки вход в их дом был открыт в любое время суток.

Лёлька засиживалась у них до ночи, после чего дядя Натан требовал оставить её до утра, укладывая её на огромном раздвижном диване в серединке, ненароком поглаживая Лёльку с лежащим рядом котом. С ней стало происходить что-то непонятное. Она будто была не в себе, накалена до предела, со взвинченными нервами, в неестественном радостном возбуждении, выплёскивающимся зачастую кратким слезоточивым взрывом. От случайного лёгкого прикосновения дяди Натана исходили токообразные энергетические потоки, пробивавшие Лёльку насквозь. Неожиданно ей стало нестерпимо стыдно перед тётушкой Натальей. Она не могла смотреть ей в глаза, будто что-то незаметно украла у неё, чувствуя себя последней дрянью. Дядя Натан стал общаться с Лёлей на эзоповом языке, в котором звучали для её понятливых ушей завуалированные признания его чувств к ней, требовавших продолжения. В один из дней, приняв ванну у тётушки, она наотрез отказалась ночевать и собралась к другим родным поблизости, где и остановились они с мамой. Дядя Натан, нетерпящий уговоров и возражений, оделся и пошёл её провожать. Он был настроен решительно, только Лёльке было непонятно, на что. Он вошёл с ней в тёмный двор, завёл на лестницу, прижал к стене и впервые прикоснулся к ней откровенно по-мужски, блуждая судорожными руками по её телу, останавливаясь на груди, засасывая своими мокрыми губами не только Лёлькины губы, а как показалось ей, и всё её обмякшее скользкое от его слюней тело. Резко оборвав свои ласки, намекнув на их божественную и непреодолимую для него силу, поняв, что тайна будет сохранена, он отпустил её и быстро исчез. Лёля простояла одна в парадной в каком-то болезненном оцепенении, чувствуя себя опустошённой и обманутой. Она никак не могла стереть с лица слюни, которые, казалось, прилипли навсегда. Благодаря этим позорным минутам с неё спала романтическая горячка, и она освободилась от подавляющего гнёта и душевных мучений. На следующее утро она проснулась с воспалённым от жгучей крапивницы лицом и таким же телом. Всю неделю до отъезда она температурила, сдерживаясь еле-еле, чтобы не раздрать пылающую кожу. Она восприняла крапивницу справедливым наказанием за то, что сделала обожаемой тётушке, которой теперь уже она могла смотреть в глаза, не мучаясь.

Именно в это время Лёлька перешла в новую школу на Невском со своим незначительным багажом знаний, но с накопленным, хоть и небольшим, жизненным опытом, а главное с желанием познавать то, к чему уже начала тянуться её просыпающаяся душа, то есть прекрасное. Она уже могла определить, чего надо избегать, недурно считывала с лиц характер людей,

их достоинства и скрытые пороки. Пользуясь ещё большей свободой и доверием родителей, не тянулась к запретному, была открыта и искренна в общении.

Средняя общеобразовательная школа с производственным уклоном из девочек лепила воспитателей детских садов, из мальчиков – литейщиков и слесарей. Новые предметы по психологии, изобразительному искусству, методики практических занятий с детьми давались ей легко без особых усилий. Малыши на практике её обожали и льнули к ней, как кролики, расталкивая друг друга, нарушая последовательность выполнения методических указаний, отчего у неё одной из всего класса была тройка за практику.

В этот период Лёльку будто прорвало на чтение – она стала ненасытно поглощать художественные книги, которые появлялись дома благодаря возродившемуся в стране книгопечатанию и подпискам. Вместо уроков она могла часами пролёживать на диване с книгой. Прочитывала с жадной быстротой всё, что появлялось дома – Джека Лондона, Вересаева, Станюковича, Тургенева, Паустовского, Куприна, Алексея Толстого. Бегала к соседям за подписными изданиями. И если, когда Лёля выпрашивала книги, учёная соседка выражала ей в лицо сомнение, что она их поймет, в ней просыпалось дикое упорство на уровне бунта, и она начинала назло читать их с удвоенным вниманием, включая вступительные статьи, которые никогда не удовлетворялись её внимания, пытаясь осмыслить и запомнить, а главное – доказать, что она понимает, о чем читает.

Как впоследствии показало время, благодаря этому качеству характера, все запреты в своей жизни Лёлька преодолевала, как вражеские преграды, максимально мобилизуя волю и достигая своих конкретных целей. Запрет стал для неё мощным сигналом к обратному действию. Таким образом, она соприкоснулась с творчеством Фейхтвангера, прочитав романы «Лже-Нерон» и «Испанская баллада», оставившие странные впечатления от несоединённых в единое целое, разбросанных в её памяти, не до конца осмысленных событий.

Её пытливый мозг требовал пищи для роста, а душа фонтанировала в поисках волнующих романтических образов. Из-за поварных троек и увеличения числа пропущенных уроков, книги стали от неё прятать. Лёлька перешла на чтение с фонариком под одеялом, что только усиливало её восприятие романов, которые она быстро пробегала глазами, стараясь не упустить сюжетную линию и диалоги, исключая всякую философию и утомительные описания природы. Мопассан, прочитанный под одеялом, оставил после себя куда более яркие впечатления.

Книги по криминалистике, в небольшом количестве имеющиеся в доме, тоже оказывались в поле её внимания. Ей нравилось читать речи известного адвоката Кони, через мысли которого она начинала познавать психологию преступления, более того, её поразила сама мысль, что преступника можно и нужно оправдывать. Запомнилась история суда над мальчиком-гимназистом, ударившим ножом своего одноклассника. Причиной его отчаянного поступка была ежедневно возобновлявшаяся травля. Мальчик был горбат. «Горбун!» – каждый день на протяжении нескольких лет приветствовал его пострадавший.

Лёлька запомнила самую короткую и, возможно, самую эффектную речь Кони в своей адвокатской карьере. Он начал так: «Здравствуйте, уважаемые присяжные заседатели!» «Здравствуйте, Анатолий Федорович!» – ответили присяжные заседатели. «Здравствуйте, уважаемые присяжные заседатели!» – повторил он. «Здравствуйте, Анатолий Федорович!» – вновь, но уже с недоумением ответили присяжные. «Здравствуйте, уважаемые присяжные заседатели!» – снова сказал Кони. «Да здравствуйте, уже, наконец, Анатолий Федорович!» – отвечали присяжные с сильным раздражением. Кони вновь и вновь повторял свое приветствие, пока и присяжные, и судьи, и все присутствующие не взорвались от ярости, потребовав вывести «этого сумасшедшего» из зала суда. «А это всего лишь тридцать семь раз», – закончил свою «речь» адвокат. Мальчик был оправдан.

С любопытством и бесстрашием Лёлька разглядывала судебно-медицинскую экспертизу с жестокими картинками и фотографиями несчастных жертв. Можно сказать, что к медицине

Лёлька чувствовала большое влечение и даже имелись некие природные данные, как показала жизнь. Во-первых, таскала домой и выхаживала больных котят и выпавших птенцов, и небезуспешно. Лечила и колола своих собак и котов. Во-вторых, лучшего домашнего лекаря, санитарки и сиделки у Лёлькиных родных в жизни не оказалось. Она быстро схватывала приёмы массажа, борясь с парезом грудного сыночка и с подростковым сколиозом, наострилась делать внутримышечные инъекции маме, страдающей диабетом, мужу, друзьям, могла колоть себя в бедро при радикулите, легко и быстро, без единого воспаления, прокалывала на работе за кульманом всем желающим женщинам уши, продевая гигиенические серёжки. После всех тяжёлых операций, которые были сделаны её родным, Лёлька неизменно была на своём посту около них днём и ночью с уверенной улыбкой на лице и твёрдым убеждением в излечимость неизлечимого, дававшее больным силу для выживания.

Но что странно, литература в школе её не захватывала. Анатомирование художественных образов, единообразии трактовок героев, приклеивание чёрно-белых ярлыков к ним, наводило на неё скуку и отторжение ко многим классикам, в том числе и ко Льву Толстому, к которому она вернулась сама в преклонных годах, потрясённая силой и красотой русского языка, героями, выписанными с филигранной психологической точностью, ясным изложением сложных исторических событий, профильтрованных гениальной мудростью великого писателя.

Запойное чтение книг частично утоляло познания, развивало воображение, оседало в памяти вырванными сумбурными эпизодами, преобразуясь в её собственное многогранное видение мира, в котором нищета могла победно блистать, богатство убивалось скукой, за грубостью могла прятаться нежность, любовь окроплялась слезами, смелость жила в хрупких телах, подлость – в красоте, а сила пребывала в слабости.

На школьных уроках по изобразительному искусству у Лёльки явно проявился

## ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ДАР

Она с необычайной лёгкостью и точностью рисовала любую поставленную натуру, натюр-морты и смелыми живописными мазками создавала гуашью свои сказочные композиции для детей, многие из которых были оформлены под стекло и развешаны в детском саду. Тут же, её привлекли к школьным стенгазетам, которые она могла оформлять с упоением днём и ночью, в школе и дома, используя гуашь и акварель. Особенно она любила стенгазеты на антирелигиозные темы, где она могла в полную силу достигнутого мастерства выразить своё восхищение и восторг от золотых куполов церквей и строгих крестов на фоне голубого неба с летающими голубями. Чтобы оставлять больше места куполам, от которых у неё захватывало дух, она согласилась писать заметки, но такие крохотные, что, приклеивая их за куполами, они будто уносились ветром вместе с улетающими в никуда птицами.

Лёлькина школьная газета для медицинского кабинета с огромной чашей и живописной змеёй заняла третье место в городских соревнованиях, что предоставило ей неожиданную льготу в виде периодических освобождений от физкультуры. Таким образом, если присмотреться к журналу, у неё одной из всех девчонок в школе месячные приходили и уходили раза два-три за период. Неумолимая и строгая пожилая школьная медсестра не требовала от неё сиюминутного показа капельки крови на ватке, как у всех остальных, приходящих к ней в кабинет с жалостливыми собачьими глазами.

У неё было пять подружек, но сделанных будто из другого теста, чем она сама. Они были приметны, учились на твёрдые четвёрки и пятёрки, выделялись миловидностью и своеволием, обладали отчаянными и решительными характерами. Почему она оказалась в их компании, Лёлька и сама не понимала. Почти каждый день, в любую погоду все дружно вываливались из школы, чтобы скорее занять столик в мороженице на Невском у «Колизея», где они съедали каждая по полкило ассорти, гордо потягивая из трубочки кофе гляссе вместо горячего школьного обеда. Всё было по-настоящему – и официантки, и заказы на подносах, и общий счет, на оплату которого они собирали свои брэнчащие монеты и рубли со всех карманов, не забывая давать на чай, как истинные леди. У Лёльки почему-то всегда оказывалось денег больше, чем у подружек, но она не придавала этому значения.

Вечерами, сцепившись под ручки, они плотной шеренгой фланировали по Невскому проспекту от кинотеатра «Колизей» до Дома Книги, туда и обратно, попевая разные модные песенки, косясь на свои отражения в больших витринах искрящегося заманчивыми огнями города со старинными фонарными столбами, любопытно взиравших на них сверху. Лёлька открыла для себя удивительную красоту и величие городских перспектив, гармонию, плотно стоящих друг к другу, таких разных по форме, цвету и декоративным элементам, домов. И вышагивая почти строевым шагом, с поворотом голов на каждую витрину, как по команде, она уносилась в мечтах в свои фантастические видения, в которых видела себя среди этих дворцов другой, красивой, элегантно одетой, состоявшейся и известной, рядом с высоким надёжным и преданным мужчиной.

В десятом классе на практике в детском саду Лёлька подцепила корь, которой переболела в тяжёлой форме. Сорокаградусный жар держал её в своих пылких объятиях несколько дней. Она горела как в аду, покрываясь красными зудящими болячками, наплывавшими друг на друга, стягивающими кожу лица, медленно усыхающими, к которым ей строго-настрого запрещали дотрагиваться, чтобы потом не осталось выщербленных следов на лице, как от оспы. Перед глазами обессиленной Лёльки, распластавшейся на диване, повесили старое суконное зелёное одеяло, зашторив все окна. Ей казалось, что все четыре стены комнаты кружились вокруг неё, потолок то падал на неё при выдохе, сдавливая дыхание, то отлетал вверх при вдохе, из искривлённых подвижных стен выглядывало множество странных существ. В голове

звенело каким-то одним затяжным утомительным звуком, в воздухе летала недосказанность, обморочность и потусторонний покой.

В какой-то момент она ослабла всем телом, руки разжали кулачки, которые она держала из последних сил, чтобы не чесаться, и, закрыв глаза, полетела с замирающим ёкающим сердцем в узкий чёрный бездонный туннель с манящим вдали ярким светом. Чем ниже она падала в глубину туннеля, тем невесомее становилось тело, ярче и ослепительнее свет.

– Лёлька! Лёлька! Лёлька! Не спи! Ты меня слышишь? – кричал кто-то далёким глухим сдавленным голосом сверху.

– Не спи, Лёлька! Нельзя спать. Открой глаза. Лёлька, Лёлька, ты где-е-е-е? – уже ближе послышался голос.

И вдруг она почувствовала внутри себя мощный толчок и стала медленно взлетать к этому отчаянно кричащему голосу мимо шершавых тёмных бугристых стен расширяющегося колодца.

– Лёлька, ну ты дура, напугала до смерти, – услышала она родной голос брата, который тряс изо всех сил её валившееся набок с дивана тело.

Брат появился в момент переломного кризиса болезни и вытащил её из рук цеплявшейся за неё смерти.

После этого она пошла на поправку. Когда короста сошла с лица, Лёлькиной радости не было предела – она словно ящерка сбросила старую кожу на лице, которое поразило её перевозанной детской чистотой – без прыщиков, угрей и пятен. Её даже не расстроила болезненная худоба и дрожащие ноги. Глаза – две огромные чёрные сливы, светились по-новому на этой благодатной, оттеняющей глаза, нежной коже.

Щадя слабое состояние Лёльки, её нетвёрдые знания, учителя боялись напрягать её для сдачи четвертных зачётов и предложили ей остаться на второй год в десятом классе. Это вызвало у неё сильный шок и мощное противодействие перспективе потери своих друзей и наработанного, пусть незначительного, но всё же статуса. Она приняла вызов судьбы, собрала свою волю в кулак и с небывалым упорством к занятиям, выполнила все письменные контрольные работы, потребовав конспекты у подружек, сдала все устные зачёты, догнала по всем предметам одноклассников и перешла в одиннадцатый класс, сразив наповал изумлённых учителей по физике, математике и химии своими твёрдыми четвёрками за последнюю четверть, подняв свой авторитет до неожиданных для всех, как и для неё самой, вершин.

Как-то незаметно к Лёльке пришло ощущение своей женской силы. Долговязый Витька, сосед, живущий напротив, часами посылал в её окно зеркальных игривых солнечных зайчиков. Выждав удобный момент, подкараулил её у парадной и вручил ей влажными руками первый в её жизни букет – подснежники! Витькина мама души не чаяла в Лёле, которая легко и радостно, без лишних просьб помогала вытаскивать детскую коляску с малышом в маленький двор-колодец без единой травинки и дерева, покрытый раздолбленным асфальтом, и с огромной трансформаторной будкой в центре. В маленьком дворике шла своя насыщенная жизнь – игра парами в настольный теннис, волейбол в кружок и просто почти светское общение подростков, перебивающих друг друга едкой иронией и неуклюжими остротами, брошенными для завоевания сердец своих избранников.

Однажды отец возвратился домой раньше обычного и в шумном, гудящем, как улей, дворе спросил у ребят, где Лёлька. Ему дружно ответили, видя, как она помогала поднимать коляску с ребёнком, что она у Витьки дома и скоро спустится. Отец окаменел. И когда Лёлька сбежала во двор с Витькой, он подозвал её к себе и залепил при всех звонкую пощёчину. Дворик замер. Звук пощёчины продолжал жить в нём эхом. Лёля опешила, но не заплакала. До неё дошло, что подумал отец, и её возмущению не было предела. Она с гневом при всех объявила ему бойкот. Отец не знал, как реагировать. Это было первое и последнее, применённое им вос-

питательное действие, после которого, благодаря маме и Лёлиному бойкоту, он её уже никогда не трогал, лишь временами намекал о детях, приносимых в подолах.

Зато Лёлькиному удивлению не было предела, когда отец привёл домой подвыпившую компанию солидных мужчин из прокуратуры, один из которых, толстый, лоснящийся от чревоугодия, стал втихую заманивать Лёлю на яхту. Когда она сказала об этом разъярённой маме, от отца не последовало ожидаемой реакции, более того, он даже и не протестовал, оценивая это как дружеский жест.

Лёлька легко могла подделать подписи родителей в дневнике. И если отец просил показать дневник, то она ему говорила, что он уже смотрел, показывая его размашистую начальственную уверенную подпись с вензелями, подделанную ей. Правда, однажды призналась, что это она подписала, чем вызвала у отца неподдельный восторг. Вот и пойми после этого, что такое хорошо, а что такое плохо, для взрослых.

Брат поступил в Высшее Морское училище связи и приезжал домой в увольнительную с большой гвардией иногородних курсантов, которых мама опекала. Своих друзей, с интересом поглядывающих на Лёльку, он держал на определённой дистанции, чтобы не морочили ей голову. А Лёля и не морочилась ими, давно влюбившись по уши в Сашку Разумовского из английской школы, приходящего играть в теннис во двор. Сашка был понтила, всегда подтянутый, модный, ироничный и мягкий в общении. Лёлька, выглядывая из окна, часами выжидала его прихода, и, увидев, скатывалась с четвёртого этажа во двор, чтобы постоять рядом, а повезёт, сыграть с ним парой в теннис, ловя его ободряющую улыбку, которая, казалось, постоянно блуждала по его лицу. И всё же она просверлила его своими чёрными маслянистыми глазами, и он, как бы нехотя, но позвал её пройтись по городу к Летнему саду и Исаакиевскому собору. Саша продемонстрировал свои исторические знания перед несведущей Лёлькой, повергнув её в ступор эрудицией и онегинской манерой поведения. Проводив её до самой парадной, он вошёл туда с ней, не закрывая двери, ожидая полной покорности в благодарственном поцелуе, к которому, зажатая в нервный комок, Лёлька готова не была. Он не настаивал и вышел из парадной. Лёлька, чьи ноги просто приросли к полу от волнения, через некоторое время услышала мальчишеский смех его друзей, шлёпанье ладоней и Сашкино признание в проигрыше. Оказывается, он поспорил на какую-то фарцу, что поцелует Лёльку на первом же свидании. Она почувствовала себя несчастной отверженной белой вороной, подопытной трепанированной лягушкой, неодушевлённым предметом. Чувство восторженного обожания сменилось болезненным, но долго не проходящим сердечным притяжением и надеждой на реабилитацию собственного «я» в глазах дворового света.

Через три года Саша неожиданно пришёл к Лёльке домой, которая лежала с книжкой на диване, температура после гриппозной прививки. Мама открыла дверь и позвала её. Лёлька глазам своим не поверила – перед ней стояла её уплывшая, но незабытая мечта, с какими-то щемящими глубокими глазами, смотрящими на неё будто впервые, всё с той же ироничной улыбкой, но приглушённой грустью. Он спрашивал, что она читает, чем занимается, вспоминал дворовые игры, всё больше и больше врежаясь в её сознание какими-то своими, мучившими его, мыслями. Спросил разрешения ещё раз прийти к ней. И ушёл в никуда. Вскоре она узнала, что Саше стало плохо в метро, и он скорострительно умер. У Лёльки в голове не укладывалось, ведь мама у него была врачом, он не мог и не должен был умирать с такой защитой. Отец погиб на фронте. Она поняла – он ходил по тропам своей короткой жизни, невольно смотря на них прощальным взором с неведомой ему самому ностальгической тоской, вбирая в себя огромный мир, в котором

## НАШЛОСЬ И ЕЙ МЕСТЕЧКО

чтобы забрать это всё с собой навсегда. Печаль и грусть не появляется на пустом месте, их рождает исподволь предчувствие, к которому надо прислушиваться сердцем, а не умом.

Как-то подружки притянули Лёлю к странному знакомству с парнем, как они говорили, из компании золотой молодёжи с Невского, которому она приглянулась непосредственностью, аккуратной сформировавшейся фигуркой и пронзительными чёрными глазами. Парня, лет двадцати, все называли Марио. Компания шеголеватых молодых людей шаталась вечером по Невскому проспекту, просиживая часами в кафе «Север», летом убивала время в Солнечном на берегу Финского залива, играя в карты и попивая литрами пиво в окружении постоянно сменяющихся ярких девиц.

Лёлке было лестно его внимание, но она старалась держать определённую дистанцию, чуя в нём что-то наносное, искусственное и зажатое. Надо отдать должное, что Марио вёл себя с ней корректно, особенно после случайного знакомства с её матерью и домом, по которому можно было сложить неплохое мнение о семье. Однажды она решила поехать с ним и его компанией с разбитными девицами в Комарово на дачу. Не успев сесть на последнюю электричку, позвонила домой, трубку взяла мама, которая переговорила с Марио по-своему, поматерински с педагогическим уклоном. В эту ночь тёмная порочная сторона жизни впервые предстала перед Лёлей во всём её нелитературном блеске с такой шокирующей близкой откровенностью, что, казалось, нет места на земле, куда бы можно было спрятаться от этого гнусного смрада. Девицы оказались снятыми на ночь проститутками. Лёлька спала на трёх стульях, сдвинутых вплотную, рядом с преданно сидевшим и охранявшим её всю ночь Марио, который открылся ей во всей своей несчастной наготе – отец погиб в войну, мать простая работница, больная сестра, коммуналка на Невском. Сам он работал по сменному графику в метрополитене простым рабочим-механиком.

Утром протрезвевшая золотая молодёжь, посмеиваясь над Марио, перекидываясь сальными намёками, налила в красивый хрустальный бокал какую-то пенящуюся жидкость янтарного цвета и предложила Лёлке на глазах всей честной компании выпить свежего кваску. Не успела она поднести бокал к губам, как взбешённый Марио вырвал из её рук бокал и бросил на землю. Ей предложили выпить или пригубить, как получится, пенящуюся золотую мочу золотой молодёжи, в качестве заштатного братского крещения для поднятия похмельного духа. Видимо, шутка проводилась не впервые, со всеми наивными новичками, что не раз наблюдал её бедный рыцарь.

После этой ночи, искреннего откровения, пакостной шутки и проявленной защиты Лёлку пронзила острая жалость к Марио. Даже его единственный серый выглаженный костюмчик с двумя дефицитными белоснежными белыми нейлоновыми рубашками, стираемые руками матери, которые он берёт изо всех сил, вызывали у неё щемящее чувство. Она передумала рвать с ним резко, давая ему возможность редкого общения вне дома, видя его нарастающее к ней тёплое чувство. Марио признался, что его зовут Виктором, был благодарен даже за эти редкие встречи, периодически пропадая, неизвестно куда на длительное время, что Лёлку вполне устраивало.

Прошло семь лет. Летом, уложив своего ребёнка в кроватку на дневной сон, она выглянула через окно во двор и увидела там одиноко стоящего бритого мужчину в ватнике, который переминался с ноги на ногу, чего-то ожидая. Она насторожилась, понаблюдала за ним и занялась домашними делами. Мама в этот вечер пришла позже обычного и сказала, что встретила во дворе Марио, который вышел из заключения, тепло с ним пообщалась, рассказав про семейные новости. Сразу после освобождения он пришёл в их двор, долго стоял, поджидая Лёлку. Только мама с чуткой душой и добрым сердцем могла встретить его по-человечески, подбод-

рить и подготовить его к этой неожиданной для него правде о Лёлькином замужестве и ребёнке, дав ему необходимые искренние материнские советы для будущей жизни. Лёля никак не могла представить себе, что играла в судьбе Виктора-Марио такую значительную роль. Виктор, всё же один раз заявился к Лёльке домой с пивом, чтобы увидеть мужа, познакомиться с ним, взглянуть на малыша, которого она с гордостью ему продемонстрировала, и признаться ей в том, что только благодаря мыслям о ней, мечтой о Лёле, он смог выжить в тюрьме и выйти на свободу. Посидев на кухне за бутылкой пива с мужем, принявшим его спокойно с хозяйским радушием, он посмотрел ещё раз на очаровательного малыша затравленными глазами и ушёл из её жизни уже навсегда.

### III

Лёлька, испытав волнующее яркое эмоциональное ощущение от короткого наркоза, стремилась задержать его в себе, чтобы вновь и вновь соприкоснуться с прожитыми эпизодами жизни, которые вовсе не потерялись, а, к её удивлению, остались жить в ней вспышками документальных кадров немого кино.

Встрепенувшаяся в глубинных лабиринтах память играла с бессонницей в кошки-мышки, пока короткий ночной покой не придавил к подушке горемычную Лёлькину голову с раскрытой книжкой на носу. Резкие предрассветные телефонные звонки, словно выстрелы, рассекали тишину взрывами острой головной боли. Сначала звонила встревоженная Майка, на глазах которой Сеня с пеной у рта падал два раза навзничь – дома и на вокзале, где полиция его чуть не забрала. В ночной поезд она его всё же запихнула, облегчённо вздохнув. Из поезда ранним утром несколько раз звонил настороженный молодой женский голос, с просьбой встретить Сеню, который, отвечая разумно на её вопросы, производил неадекватные действия – ворошил постоянно свои бумаги в сумке, разбрасывая их по полу, с беспокойством ходил по вагону, разговаривая сам с собой, подтягивая при этом одной рукой сползающие с него брюки, с одышкой декламировал стихи, перемежая их научной информацией о пятнадцатой международной конференции по термическому анализу и калориметрии в России и о вечной неисчерпаемой теме защиты докторской, периодически всплывающей у него в мозгу симптоматическими приступами.

Лёлька поняла, что это очередной конец его неприкаянной маниакальной свободы, и первая ступень к началу длительного излечения разбушевавшейся психической стихии.

– Надо встретить на вокзале, – решила она, – оттуда сразу в больницу. А вдруг опять упрётся? Ну, ладно, тогда по второму плану: везу домой и звоню в психдиспансер начмеду, как договорились. Обещали взять на себя больницу, ведь знают, что рыльце в пуху, совсем не наблюдали за ним. Только бы в своё отделение попал на Пряжке. Надо бы утром на Пряжку позвонить. Сможет ли сын помочь? Не бегать же за такси, его одного уже не оставишь. И почему брюки одной рукой держит? Что-то новенькое, – думала на ходу Лёлька, торопливо одеваясь и морщась от головной боли.

Всё для завтрака она приготавливала с вечера – электрический чайник с водой, рядом чистый заварной, пиалы для каши и творожка с мёдом под сметаной, разложенные в аптечном боксе по времени приёма многочисленные лекарства для мужа, аппарат для давления с подушкой, салфетки.

– После завтрака сразу накрою обед для мужа. Отнесу ему заранее фрукты, потом звонки и бегом на Московский вокзал. Пашка будет ворчать: «Опять из дома, что там мёдом намазано что ли, лишь бы не дома». Понимаю, Павел привязан болезнями к креслу, телевизору, кровати и горшку. Но всё же, так нельзя. Всё сделано, приготовлено, куплено, разложено, постирано, вымыто – только не угнетал бы брюзжанием, дал бы хоть толику свободы для выпавших на мою долю пусть и ненужных по его мнению для семьи дел. Ничего изменить я не в силах, – возмущалась про себя Лёлька, суетясь на кухне и раздражаясь от частичной правды мужа.

– Почему невозможно жить вместе, не поглощая друг друга, не вламываясь своим я в сокровенное пространство другого. Зачем навязывать свою скуку как нечто достойное внимания, с требованием разделять её и наполнять всё равно чем, а лучше жизнью другого. От праздной скуки возбуждается нездоровое любопытство, подслушивание телефонных разговоров, подозрительность к речам и молчанию, уходам и приходам. Лавина внезапно выплеснутых непонятных обид накрывает как собственные грехи, терзая душу. Ты становишься виноватым за другую, прожитую не тобой жизнь, за то, что по громогласному мнению скучающего у тебя

происходит что-то совсем ненужное, наполненное не теми делами, не теми заботами, не теми стремлениями и ценностями.

– Всё же расстояние сближает – физическая близость разобщает, – мелькали по мимо её воли мысли в голове, пока, кряхтя и охая, Паша выбирался из своей берлоги – небольшой комнаты скученного жизненного пространства, где он смотрел каждую ночь свои ностальгические сны о работе, общался часами с широкоэкранным телевизором, из-за плохого зрения практически лишь прослушивая спортивные передачи и, настроив под себя электронную книгу, медленно с вождением водил одним видящим глазом по укрупнённым строчкам современных романов, прослеживая судьбоносные повороты героев книг, дарящие ему ощущения реальности бытия и притупляющее действительность забвение.

– Доброе утро, мамочка, – произнёс Паша, внимательно заглядывая ей в лицо, пытаясь определить её настроение. – Что ещё не проснулась, молчаливая моя? Чем порадуешь с утра пораньше? Куда намылимся сегодня? Ладно, ладно, шучу. Грех мне жаловаться. Всё равно горбатого могила исправит.

– Руку давай и рот закрой, аппарат чувствительный, сбой будет, – сказала Лёля и стала мерить ему давление.

– Аппарат врёт, не может быть такой разницы в десять— двадцать единиц.

– Нет, не врёт! Просто надо делать три замера, брать среднюю величину и сидеть молча. Все у тебя врут вокруг, правдоносец ты наш неутомимый, – пошутила Лёлька, – Ну вот, всё в пределах твоего подпорченного организма.

– А мне опять чёртова работа снилась, – продолжал говорить муж без остановки, описывая очередной сюжет ностальгического сна в сюрреалистических картинках с безвыходностью тупиковых ситуаций, унижающих его достоинство, незавершённостью увиденных событий, неудовлетворённостью собою, с деньгами, растворяющимися в руках в критические моменты, с вытеснением и выдавливанием из общества, с лишением стула, стола, места за застольем, попытками преодоления ирреальной действительности, с обязательно оборванным муторным неразрешённым концом.

В этот раз во сне его с нетерпением ожидали на работе. Просочившись без пропуска через толстые кирпичные стены проходной, он долго плутал по заводской территории со знакомыми зданиями, закоулочками и поворотами, которые растворялись, как дым, по мере приближения к ним. Всё же он добрался до своего отдела, где его радостно ожидал большой женский коллектив. Женщины подобострастно улыбались и ласкались к нему, прикасаясь мягкими грудями и тёплыми упругими бёдрами к телу, ведя в самый конец большого служебного помещения, где, он знал, должен стоять его кульман и два начальственных стола. Тёплая волна удовлетворения и плотской радости проходила по его обмякшему телу, согревая и раздувая болезненное самолюбие до состояния непоколебимой уверенности в своих достоинствах, главным из которых он считал свою непогрешимую справедливость. Его подвели к рабочему месту, расступились, и он увидел поломанный кульман и одиноко стоявший у стены электрический стул, вокруг которого на полу лежали разбросанные, украденные кем-то во время его отпуска из стола недорогие, но памятные для него вещи – готовальня, скальпель, логарифмическая линейка и дефицитный набор кохиноровских карандашей. Женщины бесстыдно прижимались к нему, подталкивая к электрическому стулу. Одна из них, со знакомым лицом и с сигаретой в руке, протянула ему стакан спирта, сказав с сатанинской улыбкой, что надо выпить. Так положено. Он взял в руки стакан и поднёс к губам. В тот же момент спирт вспыхнул ярким пламенем перед глазами, не обжигая лица. Он не удивился, понял, зачем у неё в руке была зажжённая сигарета. Тут же его обдало ледяным страхом, когда он вспомнил о выданных ему под расписку секретных чертежах с грифом СС из первого отдела. Они были в пропавших столах или, о, ужас, сгорели в этом холодном огне. Ноги подкосились, и он стал медленно опускаться на электрический

стул, от соприкосновения с которым у него побежали мурашки по коже, перехватило дыхание, и он проснулся.

– Да, твоя сорокалетняя занятость с грифами СС сильно повлияла на тебя, не оставляет в покое и на покое. Мы теперь, как старые ненужные дрессированные служебные собаки, сидим в своих будках, мучаемся привитыми условными рефлексами, лаем невпопад, мешаемся под ногами, совершая бессознательные телодвижения, имитирующие прежнюю активную жизнь, – произнесла Лёля и для большей убедительности три раза пролаяла ему в ухо.

– Вот дурочка! Тоже мне философ. Хотя есть доля правды в твоих словах, женщина. Да только мы с тобой не жили, как две собаки, скорее, как кошка с собакой, все сорок с лишним лет, – ехидно заметил Паша.

– Ну знаешь, всё относительно. Наши Руса и Гоша спали вместе, хоть собака и кот.

– Они-то спали вместе. А мы до чего дожили. Спим в разных комнатах, не знамо, сколько лет. И мысли у тебя одни – сбежать из дома под разными предложениями хоть куда, лишь бы не сидеть рядом и не слушать умного человека, которому только перечишь, – беззлобно произнёс муж.

– Ладно, ладно! Мы теперь притёрлись с тобой своими изношенными винтиками, шестерёнками, маховиками, и трогать нас опасно, так как развалится весь мучительно собранный воедино скрипучий механизм. Нас можно, как ты часто советуешь, лишь смазывать маслом, подтягивать гайками, заматывать ветошью и держать на определённой дистанции во избежание короткого замыкания.

Переделав все дела, Лёля позвонила сыну, и он неожиданно согласился помочь встретить бедолагу Сенью.

– Надо же, – подумала Лёля, – мне не повезло, а Сеньке повезло, относительно, конечно. Платную стоянку у вокзала обеспечу.

С сыном Костей они встретились на платформе до прихода поезда. Лёля нервничала, так как не могла дозвониться до начмеда психоневрологического диспансера. Зато дозвонилась до лечащего врача Сени с отделения его постоянного больничного пребывания на Пряжке Вадима Игоревича и услышала от него категорический отказ принять его в больницу, так как приступы с пеной у рта обозначают наличие ещё и другого заболевания, связанного, скорее всего, с травмой головы или иными нарушениями неврологического плана. Только после обследования, лечения и заключения невролога можно говорить о приёме Сени по его основному заболеванию.

– Как же так, – растерялась Лёля, – у него явно сильнейшее маниакальное возбуждение, никакая другая больница не сможет нормализовать его состояние. Понятно, что для Вадима Игоревича принять такого больного – это взять на себя дополнительные хлопоты по вызову других специалистов и сопровождению лечения, перемежающегося с основным заболеванием.

Лёля тут же набрала телефон скорой помощи, чтобы вызвать транспорт к приходу поезда и повезти Сенью в любую больницу. Но не тут-то было. В скорой отказали, сказав, что вызов примут тогда, когда больного снимут с поезда.

– Интересно, мы что должны пустой состав держать у платформы, пока они приедут? Будь, что будет, – решила Лёля и в ожидании поезда стала с интересом осматривать Московский вокзал, который возбуждал в ней множество, тревожащих душу, воспоминаний.

На вокзале она бывала, но в суетных заботах, а потому не обращала внимания на особые перемены. Лёля ходила по пустой платформе, пытаясь хоть глазком взглянуть на свой прежний родной сталинский дом, но вся панорама была закрыта выстроенным перед ним современным скучным, протяжённым вдоль всей платформы зданием, за которым пряталось её детство. Появились новые залы, красивые навесы на платформах и всякие современные технические усовершенствования для удобства пассажиров, которые уже не дрались за свободное место вокзальной площади, носясь с тюками и чемоданами, а укрывались в залах ожидания, погля-

дивая на электронные табло. Вокзальный ритм был упорядочен графиком движений поездов и всевозможными сервисными городскими услугами, предоставляемыми дистанционно.

В центральном Световом зале ожидания вместо метровой алебастровой головы Ленина на чёрном длинном, прямоугольном пьедестале, похожем на немытую вытянутую шею, водрузили туда же бронзовый бюст Петра I, в стиле петровского барокко, который никак не вписывался в упрощённый до нельзя современный интерьер. Ни тот, ни другой, по её мнению, органично не вписывался в стиль сохранённого внешнего фасада вокзала времён Николая I, который императорским Указом положил возведение великодержавной железной дороги от Санкт-Петербурга до Москвы с первыми публичными рождественскими ёлками в России в вокзальных стенах. Она задумалась над этой исторической несправедливостью – так за что же мы, неблагодарные потомки, выкинули бюст Николая I из его детища, которое служит нам до сих пор? Отрекаемся от истории, а потом через века и поколения открываем Эврику прошлых времён через искажённую действительность.

Подходя к вокзалу, Лёля окинула равнодушным взглядом гранитный обелиск в центре площади, напоминавший ей гипертрофированный кладбищенский памятник и вспомнила, как, учась на Гончарной, иногда забегала в разбитый здесь парадный сквер с цветами, декоративно подстриженными кустами, внушительными скамьями, на которых иногда дремал приезжий народ. Она любила вглядываться в открытую линейную перспективу Невского проспекта с потоком гудящих машин, погружаясь в иллюзии большого города, присущие любой юной романтической натуре, настороженно поглядывая на сидевших посетителей сквера.

Теперь она знала про конный памятник императору Александру III, воздвигнутый здесь в сквере благодарным сыном Николаем II. Про то, что Демьян Бедный обозвал его «Пугалом» в стихотворных строках «Торчу здесь пугалом чугунным для страны...», про то, что конную фигуру убрали с глаз долой и знаменательный исторический факт о «Царе-Миротворце» и «Основателе Великого Сибирского пути», в царствование которого Россия не вела ни одной войны. Памятник передавал тяжеловесную поступь и надёжность непоколебимого внушительного монарха, органически вписываясь в архитектурный ансамбль Знаменской площади. За поддержание мира на своей земле он был оплёван своими потомками, но хоть не уничтожен и поставлен у входа в Мраморный дворец, как сторожевой пёс. Члены царской семьи, отдавшие предпочтение итальянскому скульптору Трубецкому, наверняка, неспроста выбрали его проект, который соответствовал их уровню вкуса, как оказалось, неприемлемого сменившимися властями, как флюгер, меняющих свои предпочтения в зависимости от направления и силы эпохальных ветров.

К часам на четырёхугольной башне над главным входом в Московский вокзал Лёлька привыкла с детства, поглядывая на них по пути в школу и домой, постоянно припаздывая на уроки. Она даже помнила звук их мерных колоколов, который, не снижая силы, утопал в городском нарастающем шуме, будто замолкая.

Со старинными вокзальными часами Лёлька сроднилась до такой степени, что, глядя на них, разговаривала с ними, умоляя их не торопиться или замереть, а иногда почаше тикать, мысленно подталкивая вперёд. Мечтала побывать в таинственной башне, в которой дышит живой могучий механизм, мерно отстукивающий секунду за секундой, с огромными скребущимися маховиками, медными шестерёнками, стальными валами, неподъёмными противовесами и гигантским маятником, оглашая всему миру непостижимую в своей бесконечности бесстрастную поступь Вечности.

Ещё одно событие связало её с часами, когда во время ночного пожара на Московском вокзале Санкт-Петербурга горели строительные леса на знаменитой часовой башне. В течение часа пожарные боролись с огнём, и самое главное, что среди спасателей был её сын Костик, профессия которого вызывала у Лёли наряду с беспокойством великую материнскую гордость.

Сыну повезло – он воочию увидел старинный механизм знаменитого мастера Фридриха Винтера, к которому не прикасалась рука модернизатора с 1852 года.

В квартире на Стремянной у них висели настенные часы с ручной заводкой, которые Лёлька обожала заводить ключиком и с замиранием слушала их подготовительные вздохи-крёхи и шипения перед боем. Вот на этих часах однажды, наверху, под самым потолком, во время уборки они с мамой обнаружили немалые спрятанные денежные запасы отца, об источнике которых мама сразу догадалась, залившись краской. Несмотря на то, что мама билась за достойную жизнь с трудом сводя концы с концами, они с молчаливой укоризной выложили на столе этот срамной клад перед отцом, на что он спокойно сказал: «Нашли, так и забрали бы. Спросу бы не было. Что с возу упало, то пропало, такова жизнь. Виноват, что плохо спрятал, а вы, дуры, что не взяли то, что само шло вам в руки». Лёлька была поражена откровенным цинизмом отца как представителя правоохранительных органов. Страшно было подумать, что могло происходить в этих органах с таким недвусмысленным воровским подходом.

– Пошли на середину платформы к шестому вагону, – сказал сын, прослушав объявление, и двинулся вперёд. Лёля рядом с собой увидела медицинскую каталку, которую с грохотом вёз мужчина с красным крестом на спецовке.

– Неужели за нашим, – подумала она и забеспокоилась.

Как только проводница вышла из вагона, Лёля подошла к ней с вопросом, здесь ли едет мужчина, которому плохо.

– Что же вы делаете, родственники! Как вы могли отправить больного человека в другой город одного, просто слов не хватает! Безобразие! – стала возмущаться проводница, которой, видимо, досталось лишних хлопот по вызову вокзального дежурного медперсонала.

– Нет у него родственников в городе, кроме больного отца, которому за девяносто. Не кричите, сказала, как можно спокойнее, Лёля.

– А вы кто? – удивилась проводница.

– Никто. Так, знакомые его отца, – сказала Лёля, и они с сыном вошли в общий спальный вагон, обдавший спёртым, пропитавшимся человеческими испарениями, воздухом. Сеню найти было нетрудно – он сидел на самом проходе весь расхристанный, с разобранными вещами, мешая выходящим. Рядом находилась молодая девушка лет двадцати пяти, москвичка, которая и звонила Лёле.

Как только Лёля взглянула на него, у неё заныло под ложечкой. Перед ней сидел постаревший лет на десять за неделю Сеня, с явными симптомами развившегося инсульта помимо психиатрических отклонений. Левая рука бессильно висела вдоль тела, левосторонняя деформация лица сказывалась на нечёткой возбуждённой речи. Большие встревоженные голубые глаза смотрели с детской беззащитной открытостью и искренней радостью при виде Лёли с Костей. Всё его беспокойное подвижное тело перемещалось вдоль скамьи, не находя удобного положения.

– Костя, как здорово, что ты пришёл! Мы с тобой поиграем в шахматы? Помнишь, как мы играли, – радостно воскликнул Сеня.

– Поиграем. А теперь давай одеваться. Нас ждут другие подвиги, – улыбнулся сын.

– Спасибо вам, девушка, поддержали по-настоящему, по-человечески, – благодарила Лёля рядом сидевшую девушку, одевая на Сеню куртку, собирая в один пакет разбросанные книги и бумаги.

– Что вы, он такой интересный эрудированный человек, учёный, столько знает... Я поняла, что он не в себе, что оставлять его нельзя, поэтому и спросила у него телефон, чтобы встретили, – ответила москвичка.

На каталку лечь или сесть Сеня отказался категорически. С висящей левой рукой он бойко зашаркал ногами по платформе, подтягивая за собой слегка волочашую левую ногу

и не переставая, в сильном возбуждении пересказывал, прыгая от события к событию, о своих проделанных московских делах, умалчивая о том, что могло бы ограничить его свободу передвижения. Лёля знала, что за его наивными глазами скрывается бурная лукавая работа мозга, цепкий внутренний взгляд безошибочно улавливал и просчитывал сложившуюся ситуацию в той или иной мере, позволяющую приближаться к его идеям фикс, неотступно преследующим его во время заболевания. Игра воспалённого мозга пробуждала в нём временами мощную энергетическую силу, за счёт которой он мог не ходить, а летать по всему городу, исступлённо с криком, с небывалым для него натиском, требовать что-то от людей, что в здравом виде ему просто не пришло бы в голову. Он внимательно вглядывался в смотрящие на него глаза, чтобы прочитав по ним о своём состоянии и о том впечатлении, которое он производит, чтобы продумать последующие действия. Всем случайным и неслучайным словам, вылетавшим из уст собеседников, он придавал особое значение, запоминая и складывая их в безмерные ячейки своей тренированной памяти, чтобы напомнить и использовать их в нужных для него ситуациях. Память у него была блистательная, в неё укладывались все полученные знания, имена, фамилии, даты, события международного и личного плана, языкознания, позволяющие переводить почти с лёту без словаря английский текст со словарём немецкий, ориентировался он и в иврите. Уникальная память в периоды маниакальной возбудимости разрывала его на части, вываливая из своих глубин незавершённые честолюбивые замыслы, которые становились единственной и главной целью жизни в этот момент, из-за которых он совершал безрассудные поступки, с убеждённой вседозволенностью непризнанного гения.

Вокзальный дежурный врач в присутствии Лёли с нескрываемой подозрительностью глядел на Сеню, выискивая в его поведении синдромы алкогольно-наркотических препаратов. Непрезентабельный возбуждённый неряшливый вид, пошатывающаяся походка, некая странность в манере поведения наряду с чёткими ответами Сени на его получасовой перекрёстный допрос сбивал его с толку.

– Доктор, он больной другого плана, ему бы давление померить. Вы же видите, что у него с лицом, – говорила Лёля на первых порах спокойно.

– Выйдите из комнаты. Я знаю, что делаю, – раздражался врач, вновь и вновь пытая Сеню, откуда приехал, что ел, что пил, дату рождения, адрес, название лекарств, которые он принимает и всякую отработанную для сомнительных случаев чушь.

Сеня, лелея мысль о сборе материалов для докторской, смотря на него девственно чистыми наивными глазами, поддакивал ему, что чувствует себя неплохо, просто не спал всю ночь в поезде, хочет чаю с пончиками. Его повели всё же померить давление, которое оказалось прекрасным, и посадили на кушетку, вызвав для допроса, иначе не назвать, москвичку из поезда и Лёлю. Девушка подробно и с увлечением рассказывала о поразившем её неадекватном поведении Сени и о его высоком культурном уровне.

– Всё, хватит! – произнесла Лёлька, – если вы сейчас немедленно не вызовите скорую для психиатрического больного, стоящего на учёте, с явными признаками инсульта, то будете отвечать за последствия развития болезни в суде.

– А я не вижу особых признаков на его лице, как вы утверждаете, может быть у него с детства такое асимметричное лицо, – уже тише произнёс вокзальный доктор.

– Поверьте мне, я знаю его лет двадцать, и мы попросту теряем время.

– Ладно. Сейчас сделаю вызов. Куда надо?

– В Мариинскую больницу рядом, в неврологическое отделение с моим сопровождением, ответила Лёля и вышла к Сене.

Сеня не ожидал, что они поедут с Лёлей в больницу, но виду не показал, попросил пончики с чаем. В простых больницах, он знал, долго не держат. Лёлька отпустила сына и москвичку, купила Сене запеченные в тесте сосиски, попросила у доктора чаю. Сеня, сделав

несколько глотков, завалился на бочок, дожевывая сосиску, и внезапно захрапел на короткое время. Скорая приехала быстро.

В приёмном покое Мариинской больницы Сеня оживился.

– Нет, вы только посмотрите, в каком мы дворце. Ведь я член Общества друзей Ольденбургских. Старинные своды, широкие коридоры и народу много. Здесь активная жизнь, не то, что на Пряжке за металлическими дверями и за окнами с решёткой, – восторженно говорил Сеня.

– Боже мой, – подумала Лёля, – из всех зашторенных углов приёмного покоя несётся вой, плачь, нытьё, стоны. Люди лежат на медицинских топчанах часами в верхней одежде, вокруг некоторых топчутся родные, в центре сидит молодой парень в белом халате с толстым журналом, похожим на бухучёт, равнодушно вписывает выбиваемые из невменяемых больных болезненные симптомы, суеются студенты-медики, проводя первичные осмотры «методом тыка», а Сенька восхищается свободой общения и реальными преимуществами этой больницы перед другой, похожей на тюремную.

Несколько раз она снимала и надевала на его чёрные невымытые ноги, грязные носки и ботинки для ЭКГ и осмотра, стараясь внушить студентам, что его надо поместить в неврологическое отделение, намекая на травму головы, показывая ссадину на щеке. В результате часового осмотра запись была произведена туда, куда надо и более того, его усадили на инвалидное кресло и покатали делать МРТ головного мозга, оставив Лёлю с вещами в приёмном отделении. Сенька был счастлив от такого внимания к своей персоне.

Потом Лёля, нагруженная тяжелой сумкой, набитой одними книгами с пакетом разных рукописей, бежала за санитаром, катившим коляску с валившимся на левый бок Сенькой к нужному корпусу, через всю территорию больницы. В отделении его положили в коридоре, но рядом с медицинским постом, как по заказу. Он потребовал обед, который Лёля в последнюю минуту перед закрытием успела схватить в столовой. Он поел и завалился спать. Лёлька сбегала в аптеку за водой и необходимыми туалетными принадлежностями и стала поджидать врачей, чтобы дать всю необходимую информацию о Сене. Подошли врачи, которым Лёля, отведя их в сторону, подробно сообщила про психиатрические заболевания, заставив вписать в карточку название больницы, телефон и фамилию лечащего врача, с которым надо держать связь. Посмотрела на храпящего с открытым ртом Сеню и уже собиралась уйти, как подвезли капельницу, воткнули в правую руку иглу, приказав полусонному Сене не шевелиться.

– Да, как же ему не шевелиться, если он и одной минуты не может тихо полежать, надевает себе ненужных травм, – подумала Лёля и села на стульчик рядом с ним, удерживая его руку с иглой, которая дёргалась у него помимо его воли. Сеня посмотрел на неё блуждающими благодарными глазами и отключился.

Перед ней лежал человек с измученным многострадальным умным лицом. С открытым большим лбом, испещрённым морщинами, выразительным иудейским профилем, пухлыми капризными мясистыми губами.

– Бедный Сенька, что за судьба! Разве предполагали родные, с малолетства лепя из него гения, заражая отравой исключительности и честолюбия, облизывая его со всех сторон, убирая с его пути все препятствия, выстилая ему мысленно красные ковровые дорожки славы, работая денно и ночью для того, чтобы он не думал о брэнном, а стремился к бессмертному, что, лелея и пестуя, сделают его инвалидом, беззащитным перед реалиями жизни, великим мучеником собственного таланта с надорванной душой, – причитала про себя измотанная, не выспавшаяся Лёля, невольно задумавшись о судьбе своего сына, подверженного другим напастям, съедающим его изнутри и отравляющим жизнь близким.

Дома, успокоив мужа, ответив под его чертыхание на массу звонков, она постаралась забыться хоть на короткое время от тревожных и гнетущих проблем, тупо смотря в телевизор. Бесплезно. Сокровенные дневные мысли она безжалостно гнала прочь, запикивала в далёкие

ячейки памяти, закрывала на непроницаемую дверь, старалась забыть их, вычеркнуть, удалить, как болезненную коросту, сдавливающую сердце, лишь бы пребывать в ритме времени, бежать, делать, успевать, а главное не думать о них, пытаюсь освободиться от съедающей острой потаённой правды.

Но глубокая ночь легко и беззвучно открывала замурованные мысли и выпускала их в болезненный сон, где всё переживалось заново. Она вновь начинала тосковать, любить, терзаться, быть рядом с теми, кому это уже не надо, любить тех, кого уже нет, растворяясь в этой невозвратности, в горьком безвременье, просыпаясь на мокрой от слёз подушке.

– Человек удивительное существо. Вроде бы и разум ему дан, и память. Но всё равно никакие глобальные выводы или накопленный другими опыт не делают его мудрым, не ограждают от повторения тех же ошибок. Вновь и вновь он будет упорно вляпываться в те же истории, конфликты или нежелательные ситуации, постигая лишь на собственной шкуре избитые вековые истины. Всё, что есть в настоящей жизни, что было в прошлой, что будет в будущей описано в древних скрижалях, расшифровано библейскими рукописями и закодировано в нашем подсознании. Но человек не желает это читать, видеть и понимать. Он хочет открывать заново для себя то, что уже открыто и познано. Более того, он с графоманским упоением делится избитыми истинами с другими, ощущая себя первооткрывателем, упиваясь собственной исключительностью. А не глупость ли это, при наличии разума? – вела разговор сама с собой Лёля, подбираясь мысленно к главному событию своей жизни —

## **К ЗАМУЖЕСТВУ**

благодаря которому она приобрела свой первый серьёзный житейский опыт, повзрослев мгновенно в начале совместной жизни с человеком, выпавшим в её судьбе, как перевёрнутая карта, вытянутая из колоды своей же рукой.

К своему замужеству Лёлька отнеслась с такой же поверхностной легковёрностью, как и её мама, которая в упор не замечала многочисленных достойных парней из своего института, добивавшихся её внимания, считая их исключительно своими товарищами, почти родственниками, к которым нет и не могло быть никакого женского интереса.

После окончания мамой Педагогического института, когда её любимые сёстры и подруги повыскакивали замуж, она решительно произнесла: «Всё! Пошли на танцы. За первого козла выйду замуж!» Первым «козлом» оказался Лёлькин отец, тщедушный парень с горящими цыганскими глазами в военной гимнастёрке. Вот так на всю жизнь, безвозвратно, как в омут с головой, нырнула она в бурлящие волны ожидаемого женского счастья, сотканного созревшими инстинктами, жадой непознанной любви и женским тщеславием – быть не хуже всех – замужем.

*«Всё повторяется в конце. Начало – тоже повторенье. Мы в заколдованном кольце. Нас нет – мы только отраженье...»*, – стучали в Лёлькиной голове родившиеся строки.

А Лёля после окончания школы сразу пошла работать чертёжницей в крупное солидное оборонное КБ под названием «Ящик», где она парила бабочкой, играя, хохоча до слёз, с такими же несовершеннолетними в прятки в набитом до отказа гардеробе, вдохновенно занимаясь общественными делами – подпиской на Всемирную литературу, участвуя в организации вечеров, создании стенгазет с космическими мотивами на все праздники, и, конечно, вычерчивая на огромном кульмане непонятные узлы и детали в разрезе с покоряющей всех удивительной выразительной графичностью.

Одновременно она записалась в театральную студию, которую вёл уже не молодой артист Сергей Боярский на общественных началах, принимая всех желающих, которых накапливалось великое множество в маленькой квартирке на первом этаже на Пушкинской с отдельным входом со ступеньками с улицы. Лёлька жаждала познать актёрское искусство, но чувствовала себя на фоне уверенных и громогласных ребят обездоленной сиротой и гадким утёнком.

Конечно, если бы мама дрогнула и решила оставить её в детстве в семье младшей сестры, актрисы Натальи во Владивостоке, она бы поднаторела в искусстве лицедейства и развила свои скромные таланты до нужного уровня, но потеряла бы, наверняка, чистоту и искренность, пройдя через руки её многоопытного супруга Натана, через чистилище его тайных любовных изощрений, будоражащих плоть, искромсавших бы душу на мёртвые кусочки. Да только Бог сохранил её, не дав утонуть в потаённом сладострастии, перечеркнув мечту о театральных подмостках.

После рокового поцелуя и вспышки крапивницы во Владивостоке, через несколько лет Лёля по просьбе тётушки и уже больного дяди Натана прибыла в Москву на книжную ярмарку, куда они приехали на операцию. Дядя Натан после их последней встречи пробовал вести переписку с Лёлей, советуя ей читать Грина, Бабеля, Набокова, интересуюсь её мнением о прочитанном. Лёлька отвечала ему школьными сочинениями на заданные темы, что его не устраивало. В Москве, как только Лёля приехала к ним, тётушка помчалась на рынок за свежей клубникой и тортом. Поникший дядя Натан, сильно сдавший от болезни, тихо сидел за круглым обеденным столом. Как только Лёлька вышла из ванны в тётушкином лёгком полупрозрачном халатике, он преобразился и с горящими болезненными глазами стал преследовать Лёльку, стыдливо кружившую от него вокруг круглого обеденного стола, за который она и зацепилась халатиком, с треском разорвав его на самом интригующем месте, отчего он просто застонал. Он умолял, просил, кланчил только прикоснуться к ней, припасть к молодому желанному телу, запомнить её напоследок, как уходящую жизнь. Тётушка пришла вовремя. Вручила ей подарок Натана – дорогой комплект импортного белого нежного нижнего белья с пеньюаром, попро-

сив от его имени надеть и продемонстрировать им для удовольствия. Лёльку словно пробило током. Она поняла, что тётушка давно всё замечала, понимала, претерпевала и прощала своего неугомонного Натана, вина себя за бездетность. А теперь, когда он таял на глазах, она откровенно просила подарить ему маленькую радость перед операцией. Лёле стало невыносимо жаль и любимую тётку, и несчастного Натана, со всеми его неконтролируемыми страстями и угасающей жизнью. Показ мод ажурного белья с очаровательным воздушным пеньюаром прошёл на высоте под аплодисменты и сердечные объятия отчаявшегося невольника собственных страстей, со слезами радости прильнувшего к Лёльке, ласково гладившей его курчавую седовласую голову.

Попытка внедрится в театральную сферу закончилась крахом. Ей даже дали почитать роль женщины – комиссара в кожанке с пистолетом из «Оптимистической трагедии». Жалкое впечатление. Просидев в углу серой мышкой несколько занятий среди беззастенчиво орущих голосов, она кинулась на вечерние Рисовальные курсы при Академии художеств, где задержалась уже подольше, недурно рисуя с натуры, но по-своему, по-дилетантски. Один из лучших учеников, молчаливый рыжий конопатый парень, обратил на неё внимание и предложил помочь ей по-дружески с наработкой упущенных азоров рисования. Парнишка оценил уровень её подготовки, наличие способностей, тихий нрав и всю её уютную пропорциональную фигурку, годившуюся для постановок, и стал её провожать. Лёлька поняла, что он влюбился, но рыжесть и конопатость была не приемлема ею, так как на этом фоне, как ей мерещилось, она становилась уже просто хромой уточкой. Она бросила курсы, а рыжий-конопатый через много лет стал известным живописцем.

Не уверенная в своих силах, она не совалась на дневное отделение в привлекающие её ВУЗы и легко поступила на вечернее за кампанию с подружками в Горный институт, овеянный романтикой геологических песен, который так же легко бросила после второго курса, приевшись списанными контрольными, сессиями со шпорами, натканными в разных укромных местах, а главное, почувствовав себя окончательной душой после того, как на экзамене преподаватель, усатый с жирным брюшком пожилой дядька, услышав в ответ невразумительное мычание, придвинулся к ней поближе и, мерзко засопев, стал гладить Лёльке, замершей от стыда, под столом зажатые коленки. После чего вальжным росчерком пера поставил в зачётке «хорошо».

– Ниже некуда, – подумала Лёлька и бросила своё тягостное, ненужное ни уму, ни сердцу, обучение.

В КБ не заметить Лёльку было невозможно. В то время у мамы, работавшей как вол на двух ставках, появился блат на складе импортных товаров через преподавательницу, вернее, через её мужа. Лёлька была впервые одета так, как она и мечтала – чёрные высокие замшевые сапожки, джерсовое пальто и костюмчики, импортные туфли на шпильках, разноцветные бадлоны и всегда с модной причёской, закрепленной лаком, на которую отводилось не менее тридцати минут в женском туалете в самом начале рабочего дня. Ей в голову не могло прийти, что так выглядеть в свои восемнадцать лет перед другими женщинами, мечтавшими о том же годами, просто не прилично. И всё же злобы и раздражения к ней они не испытывали. От неё исходила тёплая волна доброжелательности и желания быть нужной для всех, чтобы она ни делала: чертила, если надо, задерживаясь, бегала на телетайп, прижимая к груди секретные телеграммы, разносила по огромным пугающим цехам извещения об изменении, снимала с любопытством копии чертежей в таинственном помещении, пропахнувшим аммиаком, разрисовывала с редколлегией внушительного размера стенгазеты, придумывала с командой активистов программу вечеров, протыкала легко и без последствий прокалённой иглой за кульманом уши женщинам, страдающим надеть серьги или, никому не отказывая, в предпраздничные дни простаивала в женском туалете до обеда, делая взволнованным сотрудницам

всех возрастов крутые причёски, на которые у них никогда не оставалось свободного времени вне работы.

Именно здесь, Лёльку постигло радостное увлечение туризмом в сплочённых молодых компаниях, с рюкзаками, палатками, котлами с едой, мытьём посуды в озёрах, с романтическими ночными кострами под звуки гитарных аккордов и поющих голосов, без навязчивых приставаний и алкогольных излишеств. Но особая радость была от путешествий на старой списанной яхте на Петровские форты. Морская команда из отличных надёжных парней допускала немногих девчат до яхты. Лёлькин оптимизм, лёгкий нрав и радостная услужливость в исполнении любых заданий, открыли для неё неведомую морскую свободу с бесстрашием перед любой волной, несмотря на то, что на воде она могла продержаться по-лягушачьи считанные минуты. На работе Лёлька продолжала свои

## ДИСТАНЦИОННЫЕ ВЛЮБЛЁННОСТИ

мгновенно влюбляясь и так же молниеносно разочаровываясь в своих объектах внимания, которые её вовсе не замечали. За ней началась охота, она это точно почувствовала, слыша разнообразные сомнительные предложения от мужчин, отторгаемых её интуицией.

Неожиданный интерес проявил к ней и начальник отдела, большой неуклюжий сдержанный холостяк, которого не только она, но и все в отделе побаивались. Однажды Лёлька за спиной услышала, как шеф к кому-то обращался по имени отчеству, повторив несколько раз: «Елена Сергеевна!» Только с третьего раза под тихий смешок сотрудников она повернула голову и потеряла дар речи, увидев, что шеф стоит за её спиной с каменным лицом и улыбающимися глазами. Когда Лёлька узнала, что он круглый сирота и детдомовец, страх улетучился, и к нему родилось какие-то неведомые ей материнские сострадание и теплота, отчего уже не она, а начальник терял перед ней железное самообладание, покрываясь до корней волос краснеющей испариной. Шеф оберегал её от делового общения с сотрудниками мужского пола, стараясь с важным видом давать незначительные задания напрямую.

Лёлькина яркая внешность сбивала с толку многих опытных сердцеедов, желавших попользоваться беспечной молодостью, внезапно наткнувшись на невинное природное кокетство абсолютного ребёнка, игравшего во взрослые игры. За три года все подружки повыскакивали замуж, войдя в новый уважаемый статус жены со всеми вытекающими из этого последствиями. Лёлька задумалась. Стало как-то обидно, будто настоящая жизнь, как скорый поезд «Красная стрела», мчалась мимо неё, оставляя одну на пустой платформе.

Однажды вернувшись загорелой с очередного летнего отпуска, проведённого во Владивостоке, когда она шла по длинному служебному коридору, постукивая тонкими шпильками с металлическими набойками, в модном льняном мини-платье, с короткой мальчишеской стрижкой крашенных чёрных волос, ей внезапно преградил дорогу секретарь комсомольской организации КБ. Полушутя, полусерьёзно стал допытываться, почему её нет в списках комсомольской организации. На что она ответила с вызовом, что не доросла до этого почётного звания. После чего и начался этот затяжной роман с уговорами о вступлении в комсомол и почти ежедневными походами в театр, кино и музеи, шаг за шагом приручая её к постоянству нового неожиданного друга. Это был Павел, её будущий муж.

Лёлька не раз видела Павла, который не участвовал в турпоходах, но никогда и не вызывал у неё особого интереса, даже лёгкой влюблённости. Природа молчала, как и её взбурянная молодостью интуиция. Хотя надо отдать должное его презентабельному виду, эрудиции, баскетбольному росту и вальяжной манере общения с молодыми женщинами. Лёльку покорила изысканный вкус начитанного Павла, его тяга к оперным голосам, понимание балетного искусства, совпадение мнений о просмотренных премьерных фильмах, на которые билеты доставались с боем. В кинотеатре «Ленинград» они смотрели «Братьев Карамазовых». Психологическая драма о судьбе, Боге и любви потрясла Лёльку до такой степени, что она потеряла дар речи, окаменев от сильных впечатлений. В такие моменты слова ей только мешали, требовалось время, чтобы вернуться к действительности. Пик их романа проходил под музыкальную мелодраму «Шербурские зонтики», где композитором был Мишель Легран, да и романтический сюжет доводил Лёльку до сладких слёз, погружая в девичьи грёзы.

Кинотеатры того времени были доступны, переполнены, фильмы выходили один лучше другого – «Воскресение», «Берегись автомобиля», «Вертикаль», «Гори, гори, моя звезда», «Родная кровь», «Баллада о солдате», «Доживём до понедельника»... У Лёльки не было сомнений в том, что и Павел также мыслит и чувствует, так же думает и так же будет поступать, как её любимые герои. Её бурная фантазия лепила образ суженого, оставляя для неё место Золушки, у которой счастье не за горами.

Первый раз за всё время пребывания в КБ Лёлька явственно почувствовала со стороны незамужней женской части коллектива подспудную агрессию на грани ненависти, которой она, сама того не желая, перешла дорогу.

– Почему их так много? – недоумевала она, – Что я сделала им дурного?

Невидимые, но ощутимые подводные помехи, исходящие от неожиданных соперниц, рождали в ней противоречивые чувства – сомнения в друге, протест и решительность для победы в достижении уважаемого женского статуса вопреки преградам. Павел, побывав в родительском доме Лёльки, усилил своё внимание к ней, вырывая её под любым предлогом из круга живого общения с многочисленными друзьями, терпеливо приручая к себе, как несмышлёного щенка, придерживаемого за регулируемый поводок.

## ПОБЕДНЫЙ БРАК

состоялся. Регистрация была скромной в районном загсе, где Лёлька весело чудила напропалую в каком-то нервном угаре, вызывая смех свидетелей и недовольство старшего поколения, призывающего к серьёзности совершаемого акта. Сразу после объявления их мужем и женой ткнула каблуком в ногу Паше, легко ввинтила ему на палец обручальное кольцо и захохотала, когда Павел трясущимися от волнения влажными руками так и не смог окольцевать её с первого раза. Свекровь, поднявшая двух сыновей, потерявшая в войну мужа, отца Павла, сохранившая в эвакуации от холода и голода маленького сына и ещё трёх иждивенцев, хлебнувшая горя с лихвой, скептически поглядывала на Лёльку, оценивая её по-своему, не веря, что этот, второй брак сына, окажется удачным. Ей хотелось видеть невестку равноценную своему сыну, с высшим образованием, серьёзную, хозяйственную, покладистую, а главное заботливую по отношению к её любимому сынку, которого она самоотверженно выпестовала, глотая вдовьи слезы ради грядущего счастья. Но сын уходил жить из плотно набитой людьми коммунальной квартиры на территорию жены в отдельную двухкомнатную квартиру, а это не фунт изюма по нынешним временам. Со временем, она по-своему всё же прикипела к Лёльке, проявляя желание жить в их семье после рождения внука. Но Лёлька, несмотря на внешнюю мягкотелость, после смерти мамы решительно отказалась жить под всепоглощающим чрезмерно заботливым гнётом свекрови, отстраняющей её в тень, и отдала сына на школьную продлёнку, выдержав крики, причитания и рыдания свекрови, приводящие в дикое волнение мужа, полностью подчинённого её воле. Уже потом, во время тяжёлой онкологической болезни, свекровь прониклась к ней с полной искренностью своего многострадального сердца.

После регистрации узким кругом дружно отобедали в доме молодожёнов, а через два дня состоялся большой сбор друзей в ресторане «Нева» на Невском проспекте в банкетном зале с малочисленными родными, среди которых сидели рядом уже после развода взволнованная мама с напряжённым отцом и сосредоточенная свекровь. Там свадьба гремела, как ей и положено: с речами друзей, свидетелей, родных, с танцами под оркестр и общие поздравительные крики и хороводы всего зала и даже с трагикомической короткой дракой, в которой к мужу подключились активисты его комсомольского бюро в пустынном вестибюле, с парнями, посмеявшимися что-то сказать или не так глянуть на проходящую мимо Лёльку. Паша, ничего не объясняя, бросился с кулаками на парней, к нему подлетели друзья. Схватка была недолгой, инцидент исчерпан, Лёлькино женское достоинство сохранено. В таком угаре она увидела Павла впервые.

Но в любой борьбе или в войне, как известно,

## ПОБЕДИТЕЛЕЙ НЕ БЫВАЕТ

Нельзя сказать, что это был брак по расчёту, нельзя назвать его и браком по непреодолимой любви. Проникновение естественных взаимных симпатий, душевные откровения и эстетические вояжи сформировали многообещающую перспективу их будущего гармоничного союза. Но совместная жизнь неискушённой молодости, как известно, состоит из диких взаимных бытовых распрей, болезненных эгоистических противоречий, каменной неуступчивости, острых обид с выяснениями отношений и утешительными ночными примирениями.

Судьба угодила Лёлке так много: романтические отношения с эмоциональным подъёмом, ожидание неизведанной радости от первой близости с мужчиной и отрезвляющее разочарование, жестокие откровения закрытой от посторонних глаз бытовой жизни и потеря себя самой в ней, где она оказалась преступно неумелой, уничижаемо глупой и беззащитной от падающих будто с неба грозовых раскатов законных нравоучительных требований мужа, шокирующая несдержанность и нервозность которого никак не соответствовала его мужественному виду и крупной комплекции.

Ранимая психика, агрессия, проявлявшаяся с принятием алкоголя, нетерпимость к евреям, граничащая с непонятной ненавистью, возмущавшая Лёлку, проникшуюся маминим интернационализмом, откровенные честолюбивые карьерные замыслы, претившие её натуре, подспудно живущее болезненное самолюбие с необоснованным мнительным страхом всечасного унижения – всё это поразило её.

Проявившиеся принципы домостроя Лёлку застали врасплох и обескуражили. В основном это выражалось в бесправности диаметрально противоположного мнения, иного, чем у мужа, по любым вопросам, что трактовалось им как предательство. Непокорная глупая жена была отнесена ко второму сорту из-за отсутствия высшего образования и не проявленного должного женского умения во всех дневных и ночных делах.

Какая там победа?! Жестокая правда, разверзшейся в ином измерении другой жизни, как бездна.

В первый же месяц совместной жизни, Павел, находясь в горячечном состоянии, получив очередную дозу противоречий, с вызовом покинул в чемодан свои вещи и, хлопнув дверями, ушёл с проклятиями из дома на глазах изумлённой Лёльки и её мамы. Лёлька почувствовала неожиданное облегчение. «Пусть идёт так, как идёт. Ничего нас не связывает: ни ребёнок, ни прописка. А время покажет, быть ли нам вместе», – решили они с мамой и удивились, что судьба приготовила в один момент развод мамы и, похоже, и её. Но Павла напуганная свекровь быстро привела в чувство. Целый месяца он ходил за Лёлкой по пятам, встречая с работы, провожая до дома, вымаливая прощение. Лёлька дрогнула, и совместная жизнь покатила по своим рельсам. Больше Павел чемоданы не собирал, из дома не убегал и вскоре по своей просьбе легко получил ожидаемую прописку, чтобы чувствовать себя полноценным хозяином для вкладывания своей трудовой лепты в поддержание уже своего дома.

Первая беременность оказалась как бы не ко времени, некстати, обременительной и нежелательной, тормозящей карьеру мужа, а значит и их благополучное обеспеченное будущее, при котором только и целесообразно иметь ребёнка. Лёлька была глупа, наивна и невежественна. Не понимала сути происходящего, на что она обрекала созревавшую в ней новую жизнь, и что стояло за этим официально поддерживаемым массовым иезуитством прерывания беременности. Советские эмансипированные женщины, задыхаясь от равноправного с мужчинами труда и семейного проблемного быта, избавлялись от нежелательного поколения на кровавом поточном конвейере мучительных абортов, зачастую с жестокими осложнениями на всю оставшуюся жизнь, уменьшая показатели рождаемости в стране.

Все эти праведные мысли пришли к ней позже, а тогда никто из родных, ни мама, ни свекровь, ни муж не остановили, не показали, в какой омут безнравственности и бессмысленности окунается она, молодая женщина, начинающая семейную жизнь с убийства плода, а не с главного своего предназначения – его вынашивания и рождения.

Только врачи в женской консультации и в больнице до последнего умоляли Лёльку оставить первенца, так как первый аборт почти всегда приводил к осложнениям, приводящими к бесплодию. Лёлке при попадании в ведомственную невзрачную маленькую, переполненную женщинами, больницу, показалось, что она в морге. По кафельным коридорам, шаркая тапочками, блуждали, как сомнамбулы, расхристанные женщины преимущественно зрелых лет в одинаковых застиранных халатах мышинного цвета. На всех лицах было выражение тупого безразличия к происходящему. У каких-то кабинетов сидели группы женщин с напряжёнными бледными лицами, некоторые крестились, кто-то, заглушая ярость, тихо поругивался, иные плакали. Периодически из этих кабинетов вывозили на каталках молчаливых женщин, прикрытых простынями, с серыми безжизненными лицами. На них смотрели с завистью.

– Отмучились, бедолаги. Теперь могут спокойно поспать, – шептали женщины, ожидая своей очереди добровольных физических пыток, так как наркоз при абортах массово не применялся.

Лёлька, глядя на всё это, почувствовала что-то неладное, какую-то дисгармонию души, раздвоение в мыслях и чувствах, брезгливость к этим обшарпанным стенам и отторжение от лязгающих каталок с безвольными телами, механизированность происходящего чуть ли не на том свете. Она была не далека от истины. Это и был тот свет для выскобленных зародышей, попадающих из материнского защитного чрева прямо в огромные эмалированные тазы смерти.

Когда её ноги и руки закрепили на гинекологическом кресле ремнями, как на кресле для пыток, врач, пожилая женщина, глядя на неё сострадающими глазами, сделала последнюю попытку уговорить её отказаться от аборта.

– Ах, если бы в этот момент кто-нибудь, совершенно её не спрашивая, взял бы и унёс её на руках отсюда, она бы не сопротивлялась, доверилась бы этим рукам и забыла обо всём, – думала Лёлька, представляя с ужасом, что будет, если она не выполнит своего обещания, перечеркнув нарисованное перед ней счастливое будущее.

Говорить она не могла, еле сдерживая судороги в горле, чтобы не зарыдать. Её попросили потерпеть, сунув в зубы свёрнутую плотную салфетку. От салфетки она отказалась. Сильно пахло нашатырём. Боль была сильной, необычной, тянущей и тягучей. Лёлька, изгибаясь телом, молчала, дыша часто и прерывисто. Почему-то вспомнились кадры из какого-то исторического фильма, как юный король, таясь, производил опыты над привязанной обезьянкой, изучая как она молча, учащённо дыша, с человеческими удивлёнными страдальческими глазами корчилась от боли над огнём.

– Молодец, девочка моя, молодец, партизанчик ты наш терпеливый. Так бы наши многодетные мамы терпели. Ничего, ничего. Скоро будет легче. Потерпи, дочурка, я скоро закончу тебя мучить, – мягко приговаривала врач, бросая резким голосом краткие указания медсёстрам.

Что-то мягко шлёпнулось в таз и застыло эхом в кафельной операционной и в Лёлькиной памяти на всю оставшуюся жизнь.

– Убийца, – прошептала она и тут же вздрогнула от пронизывающего запаха нашатыря.

В переполненной послеоперационной шумной палате Лёльку положили на втиснутую между кроватей низкую раскладушку. Лёжа со льдом на животе, суча непрерывно ногами от неотпускающей тягучей боли, она зарылась с головой под одеяло, пытаясь убежать от неприятных, раздражающих душу, мыслей. Она была опустошена, разбита и унижена. Вокруг звенели и щебетали радостные женские голоса. Под одеялом плакалось легко. Хотелось одино-

чества. Врач подходила к ней чаще, чем к другим, назначая какие-то уколы, что вызывало ревнивую зависть сопалатниц по камере, как определила для себя Лёлька место своего пребывания. Павел забежал на третий день с букетиком ландышей и тремя апельсинами, но его не впустили в отделение. Он уговорил нянечку вывести Лёльку на больничную лестницу. Увидев осунувшуюся повзрослевшую Лёльку, он с виноватым видом первый раз в жизни, не шутя, поцеловал ей руку. Ей показалось, что-то было в этом театральное. Но его влажные руки дрожали, выдавая волнение, и этого было достаточно для того, чтобы растопить возникший в её сердце лёд.

Их брак был схож с самопроизвольно меняющимся физическим явлением, переходом от ламинарных взаимоотношений, протекающих последовательными ожидаемыми слоями условного бытия, к турбуленции, со всеми её завихрениями, беспорядочностью и хаотичностью взрывных процессов, спровоцированных случайно вылетевшими словами, мелкими бытовыми неурядицами и событиями, решение которых требовало единодушного мнения. Фрактальные волны этого непрекращающегося процесса в ту или иную сторону утомляли, разъедали пошатнувшиеся чувства, обессиливая обе стороны.

Только теперь, с высоты своих прожитых лет Лёля поняла, что прелюдия любовных отношений, это игра природы, не более того. А брак – это столкновение двух разных миров, двух семейных укладов, ставших сутью их кровных детей, отчаянно отстаивавших

## КАК НА ВОЙНЕ

малую пядь земли своих принципов, не ища компромиссов, не щадя душевные раны, не понимая первоисточников их зарождения, беспощадно уничтожая ответное сопротивление ещё более мощным противостоянием.

Счастливые моменты как-то быстро испарялись из памяти, хотя их было предостаточно. Разнообразные события сыпались, как из рога изобилия, но астральные весы упорно держали чашу невзгод на одном уровне с чашей радости. Жизненный баланс отмерялся Всевышним до миллиграмма – сколько горечи, столько и радости. Горечь больно скребла по живому, долго напоминая о себе, поэтому казалось, что её больше. Радость, как нежный пух и тёплый ветерок мгновенно уходила в никуда, оставляя надежду и силы жить дальше, поэтому казалось, что её меньше. Но Всевышний никогда не ошибается, отмеряя положенное.

После первых двух совместно проведённых по путёвкам отпусков, с изнуряющими требованиями мужа к режиму и нормам поведения, ломающими свободу самовыражения Лёлькиной натуры без оглядки на чужое мнение, с постоянными обидами до горьких слёз, произвольно льющихся ручьями часами, от легко слетающих резких слов мужа, после рождения сына они решили отпуска вместе не проводить. Только один совместный отпуск оставил тёплое воспоминание и умиротворённость – дикий отдых на Азовском море в хатке-мазанке, с доброй хозяйкой, не чаявшей в них души, с цветущим плодородным садом, жарким солнцем, с дворовой ласковой собакой Бульбусякой, катанием на стареньком велосипеде, который у них украли около столовой, острым харчо и сказочными для них, доступными фруктами и ягодами.

Как не пыталась Лёлька избежать долгов, но жизнь с неизбежными соблазнами подталкивала её к злосчастным ломбардам, от которых Павла просто трясло. Он шёл на это в редких случаях, а для неё советский ломбард долгое время оставался единственным местом получения небольшого кредита для исполнения преступных замыслов в ущерб семейному бюджету.

Перед ломбардом на Владимирской площади, преграждая пешеходный путь прохожим, ещё до открытия стояла плотная толпа, в которой происходило спонтанное распределение по целевым залам. Кому в хрусталь, кому в меха, кому в золото, кому в технику. Как только со скрипом открывались тяжёлые металлические ворота, люди врывалась в длинный кирпичный коридор под открытым небом, похожий на тюремный двор, и замирали в мёртвом угрюмом молчании. Толпа растекалась на извилистые ручейки, ведущие в разные подъезды номерных залов, у которых важно стояли свои блюстители порядка, отсчитывая по головам впускающую группу. Народ стоял в любую погоду, поначалу тихо и обособленно, но по мере стоического передвижения в залы будто роднился, показывая друг другу вещи, оценивая их по важности и значимости для себя, делясь своими бедами, оправдывая своё случайное присутствие в этом мрачном заведении. Почти половина пришедших приходила без вещей, просто для их перезакладки с оплатой процентов по квитанции. Не было денег для выкупа, и народ перезаклаживал и перезаклаживал свои неоценённые по достоинству вещи на новые сроки, в лучшем случае выплачивая проценты несколько раз, в худшем – оставляя их ломбарду в собственности. Некоторые боролись до последнего в бесполезных попытках выкупить свои выставленные для продажи вещи в ломбардном магазинчике. Но, увы, они никогда не выставлялись по ценам, по которым были заложены, а если и поступали на прилавки, то по другим высоким ценам. Интересный антиквариат уходил налево, в обход полупустого ломбардного магазинчика, в руки торговых магнатов всемогущих комиссионных магазинов или напрямую искусным ювелирам.

## КОММУНАЛЬНЫЕ СОВЕТСКИЕ ЛОМБАРДЫ

с затоптанными истёртыми лестницами и залами со стойкими специфическими запахами слежавшихся вещей и скрипучими полусгнившими полами, были насквозь пропитаны людской горемычной безнадежностью и рисовали в Лёлькином воображении адово чистилище или предбанник фашисткой газовой камеры, где люди складывали одежду горой, оставаясь голыми. В ломбарде её не оставляло ощущение стыда, будто и впрямь она была без одежды. От многочасового стояния люди от нечего делать всматривались друг в друга, рисуя в своих фантазиях чужие беды, затолкавшие их сюда. Главное – это добраться до заветного окошечка, где сидел всесильный эксперт, от которого зависела если не жизнь, то хотя бы её временное существование. Важные эксперты в окошках с серыми нервными усталыми лицами ненамного отличались от закладчиков. Они дорожили своей работой и снижали до минимума оценку вещей, выдерживая скандальные разборки, угрозы, слёзы или молчаливую безысходность клиентов, которая ранила ещё тяжелее. Лёлька, как и мама когда-то, таскала чешский, подаренный на свадьбу, хрусталь или золотые колечки, в том числе и свадебные. Она по справедливости получала нагоняй от мужа, который всё же считался с этим, помогая выкупать заложенное.

Что странно, семейные разлады в семье обострялись под аккомпанемент бытовых квартирных проблем во время нескончаемых потолочных протечек. Все протечки начинаются с точки, с пятнышка, которое расплзается водяными щупальцами по потолку и стенам, как раковая опухоль, и пожирает дом, формируя чёрную дыру несчастий. Одну из них, самую горькую, случившуюся в новогоднюю ночь, она запомнила надолго, так как она потащила за собой целую череду воспоминаний.

## ПРОТЕЧКА С ДЫРОЙ НА ЧЕРДАК

была огромной. Капли падали всё чаще и чаще в подставленные в разных местах лоханки. Свет был отключён. Лёлька помнила, как убитая очередным праздничным скандалом из-за того, что муж чрезмерно много выпил, она машинально бродила по комнате со свечой, осматривая потолок и стены.

– Господи, за что это наказание? – причитала она. – Вот сколько этих протечек было на мою голову? Одна, две, три, четыре... Во время первой выходила замуж, а мама разводилась с отцом. И это после тридцати лет совместной жизни! Вернее, совместных мучений. Наверное, всё же и счастье было, если так убивалась. Как только мы решили пожениться, мама стала жить в этой тёмной комнате, а нам уступила лучшую, светлую с двумя окнами. И что? У нас праздник, веселье, застолье, крики «Горько! Горько! Горько!...» А за перегородкой шкафом стеной слышны глухие рыдания. Нам было удобно думать, что она плачет из-за протечки. Но это было не так. Она знала, через эту проклятую дыру пришло несчастье – развод. Таких крупных слёз ни у кого за всю жизнь не видела. Одиночество мамы усиливалось нашими радостными воплями. А дыра расширялась, сочилась жёлтыми каплями в маминую комнату. Она не жаловалась, да и не над нашими головами капало. Потом, потом, успеем заделать дыру... Успели... положить в больницу и... похоронить. У-у-у, дыра проклятая!

А потом шло, как по маслу. Каждую зиму – вояж с мужем по крыше с ломом и лопатой. Вторая протечка также проявилась точкой, из которой вылез чёрный глаз на потолке и... сглазил мужа, ставшего куда-то пропадать. Приходил домой лишь спать. То командировки, то испытания, то полигон. А тут ещё и звоночек сочувственного доброжелателя, как ушат дерьма на голову. Да она и без него всё чувала, ничего не зная. Всё смотрела на дверь и ждала телефонного звонка. Не заметила, как протечка набрала силу, разлилась морями-океанами по потолку и закапала по полу. Она и поскользнулась. Это закон. Как только она начинала психовать – сразу ошпаривала руки, резала ножом пальцы, спотыкалась... Вот и тогда она лежала после падения на полу, а капли с потолка лились по ней, как горькие слёзы всех обманутых жён. Вдвоём поплакать всегда хорошо, пусть даже и с протечкой. Зато... выплакали с ней своё «счастье» назад. А счастье-то вернулось благодаря всемогущей прописке, держащей в кулаке все браки при любых протечках и... пустых кошельках! Да и маленький сын сыграл не последнюю роль в этом заезженном сюжете. Ничего не хотелось менять, да и страшно остаться одной с ребёнком.

После всего этого стало как-то пусто. А природа, как известно, не терпит пустоты. И она влюбилась. Это был почти телефонный роман. Больше всего она любила говорить с ним по телефону в полном одиночестве. Закрывала глаза, сливалась с телефоном в одно целое, мысленно опутывала себя проводами и принимала треск в телефонной трубке за звуки грозового неба, попадая в пространство сладкой невесомости без горизонта и границ, без рельефа и цвета. С ним она научилась летать, обнаружив два мира – один внутри её, другой вне её. Внутренний мир, где царил только она, был наполнен бесконечными лабиринтами ускользающих мыслей, яркими залами свершившихся побед и тёмными казематами печалей. Через закрытые веки, как сквозь полупрозрачную штору, она могла наблюдать другой мир из суетной и тревожной жизни. А сама она, её тёплое тело с нитями издёрганных нервов, было не что иное, как животрепещущая оболочка, разделяющая эти миры. Её слова летели к нему навстречу через провода прямо в его распахнутое сердце. Слова приобретали смысл, становились реальностью и делали её счастливой. Метаморфоза, передаваемых друг другу чувств, кружила их во Вселенной, останавливая время.

С ней тогда случилось что-то невероятное. Она избегала смотреть мужу в глаза, находилась с ним в одной комнате, вместе обедать, завтракать, ужинать. Всё время придумывала

причины поздно ложиться спать и рано убегать на работу, где она могла сразу схватить телефон, чтобы услышать дорогой голос, пока никого нет. Это был дурман, наваждение, тоска, а может быть и любовь. Мучительно было скрывать нахлынувшее на неё чувство. И тут пришла очередная обвальная протечка. Нервы звенели как натянутые струны. Не выдержала... и призналась мужу, что любит другого. Было уже всё равно. Будь что будет! Но что удивительно, её признание больше потрясло этого «другого», чем мужа. «Другой» тут же от неё отрёкся. Как оказалось, ему нужна была только её оболочка, без проблем и отростков в виде сына. Муж сделал так, как счёл для себя необходимым, – он никуда не ушёл, скинул с крыши снег, сколол лёд, заделал дыру и мудро переждал, как сам выразился, очередной «бабий бзик».

Ах, какая это была протечка! Она перещеголяла свою протечку количеством источаемой влаги – ревела ещё целый год до новой зимы.

Эти чёртовы протечки грубо рассекали Лелькину жизнь на этапы, оставляющие в памяти свои кровавые насечки или замурованные в её недрах жемчужинки счастья. Праздники, сопровождающиеся выпивкой и домашней деспотией, потеряли для неё былое очарование. Она полюбила ритм будней, ветреную погоду, дожди и солнце сквозь тучи. Предпочитала ожидание праздника, чем праздник как таковой. Одиночество и искусственная бессмысленность происходящего особо остро чувствуется в шумящей, воспалённой от принятых градусов, суетной толпе. Хотелось закрыться на звуконепроницаемые двери, забыться в тишине, отдавшись говорящему безмолвию мыслей, незримо наполняющих пространство комнаты.

Самую тяжёлую протечку с потолочным обвалом Лёля назвала «Гибелью Помпеи». Звук капель перемежался с настороженной тишиной, после чего с потолка падали куски штукатурки, открывая чёрный чердачный зев. Она не верила наступившей тишине, так как знала, что чёрная дыра раздора пробивается своими щупальцами к новым щелям. Впервые по всему её телу блуждал невыносимый зуд, который созрел под левой грудью, забирался под мышки, спускался гусиной кожей по спине, пояснице и, пробегая по бедрам, замирал под коленками. Ах, как хотелось содрать вместе с кожей этот проклятый зуд.

Она помнила, как проснувшись, тут же поняла – день дурной. За окном было серо и мрачно. Разлад прямо висел в воздухе, как дамоклов меч. Завтрак вдвоём проскочил почти удачно. Что я сделала? Лишь случайно задела его длинные ноги под маленьким кухонным столом и тут же – поток проклятий и чертыханий: «Немедленно проси прощения!» Внутри у неё будто что-то щёлкнуло и замкнуло язык на замок. Она дожевала завтрак, поджав ноги под табуретку, как испуганная собака хвост.

Что потом? Потом побежала в метро на встречу с прошлым, где ей передали весточку из Германии, куда переметнулся её бывший коллега, кстати еврей, выручавший её не раз в трудные времена с трудоустройством в банки. После – биржа труда с толпой безработных с третьего этажа до самого Литейного проспекта. Многие стеснялись, делали вид, что случайно здесь оказались. Да что там говорить, там не было случайных, там были все отверженные, знающие, что такое беда. Не отметишься – не получишь подачку от властей. Стыдно быть бедным и безработным. Не всякий согласится махать метлой, плескаться с грязной посудой или таскать тяжести. Вспоминали свои служебные комнаты и кабинеты как рай небесный, который раньше проклинали. Лёлька поднималась, притиснутая к перилам, по лестнице с плотной угрюмой толпой к желанным кабинетам, чувствуя, что она – уже не она, а частичка одного живого шевелящегося организма, куда он, туда и она. И породил этого монстра огромный город, равнодушно взирающий на ползучее серое существо. Такую отчаянную толпу она видела только в Пассаже во времена страшного дефицита импортных товаров, сводящих с ума всех женщин, от мала до велика. И здесь, на бирже, были почти одни женщины. Для мужчин вывешивали отдельные объявления с требующимися рабочими специальностями, которые сразу срывались.

Лёлька, стиснутая толпой, вытащила клочок бумаги и карандаш и потихоньку, приноровившись к чьей-то спине, стала торопливо записывать стучащие в голове, не дающие покоя, стихотворные строчки:

*Я – женицина города мёртвых царей,  
Гранита и мраморных ног.  
Я – женицина города дикарей,  
Революционных сапог...*

С каждой ступенькой у неё рождалась новая строка, за которой тянулись другие:

*Я – женицина хмурых домов взаперти,  
Дворов проходных в никуда.  
Я – женицина сумок и толчеи  
С мозолью больной навсегда.  
Я – женицина ржавых трамвайных карет,  
Кирпичных отравленных труб.  
Я – женицина женицин, встающих чуть свет,  
И недоцелованных губ...*

Ей стало легко и комфортно в этой толпе, хотелось продлить это внезапное удивительное состояние отрешённости и полёта:

*Я – женицина всех заблуждений в пути,  
Обманутых снов, острых слов.  
Я – женицина с диким упорством в груди  
И взглядом полуночных сов.  
Я – женицина чада кухонной плиты,  
Смердящей, как старый завод.  
Я – женицина вовсе не вашей мечты,  
Изнанка я – наоборот.*

Подняв глаза на рядом стоящих женщин, она почувствовала к ним пронзительную любовь, неразрывность их судеб со своей судьбой и судьбой всей страны, несгибаемость перед свалившимися на них бедами, и написала:

*Я – женицина женицин с лицом изнутри,  
С тенями прилипших забот.  
Я – женицина женицин горячей души.  
Мы – звёзды, а всё – небосвод!*

Стояли эти «звёзды» и думали, как бы хоть какую достойную работку получить. А в уборщицы, грузчики, сантехники и дворники никто не рвался. А напрасно, думала Лёля. Когда надежда вернуться на свою прежнюю работу умрёт, то и этого не предложат, молодые займут и эти места. И правильно. Лёлька стояла и нервничала, что не успеет добежать до галереи на переговоры о продаже картины. Мысли скакали, как строчки в мониторе. И к дому пора было двигать. Жалобу насчёт недельной протечки не успела отнести в жилконтору. Хоть это и бесполезно, но муж велел. С обедом явно запоздала – жди выговор.

Наконец дома. Муж пришёл с работы. Сели обедать. Лёлька поджала ноги, как трусливый пёс хвост, и замерла в ожидании грозы. Молчание густело, наполняясь электрическими разрядами, отразившимися на Лельке страшным кожным зудом в тех же местах, будто начертанных чьей-то недоброй рукой.

– Сорвала обед на целый час, неблагодарное отродье! – смачно произнёс муж и пошёл отдыхать.

Лёлька опешила. У неё отнялся от обиды язык, и похолодело нутро, с возникшими внезапно коликами в животе.

– Отродье – это я?! – стала судорожно мыслить Лёлька. – Почему неблагодарное? – она стала загибать пальцы. – А потому что не работаешь – раз! Стоишь на бирже труда – два! Перечислишь – три! Смеешь выказывать свой нрав – четыре! Знал, чем бить, чтобы погасить своё раздражение от этой протечной жизни. Недаром всю ночь выл ветер.

Слово «отродье» пронзило грудь, как отравленная стрела, и застряло там на всю оставшуюся жизнь.

Как она выбежала из дома и очутилась на Гороховой, сама не поняла. Ноги несли к галерее помимо её воли. Знала, что зря, всё пустое, не продать картину, но остановиться было невозможно. Бежать, бежать... Куда, зачем? Один Бог знает. Ветер хлестал мокрым снегом в лицо, смывая горькие слёзы.

– «Неблагодарное отродье, неблагодарное отродье...» – слышала она за своей спиной не отстающие от неё слова.

– Нет, это не муж сказал «неблагодарное отродье», это сказали мне мои отравленные годы, – стала говорить вслух сама себе Лёлька. – Я им не знала цены, не отвечала щедростью за щедрость, заполняла пустотой, дразнила надеждой, ломала их въедливой жалостью, нерешительностью, подстраиваясь к чужеродной жизни. Я убила их своими неблагодарными руками. Вот этими руками... – почти кричала она, нелепо размахивая перед собой руками, не обращая внимания на случайные любопытствующие взгляды прохожих.

– Нет, дорогой, ничего у тебя в этот раз не выйдет, – продолжала она свой монолог, обращаясь к молчаливым поникшим петербургским домам. – Никаких выяснений отношений, никаких дежурных извинений! На-до-ело! Сначала отравим, потом живительной водичкой побрызгаем, как в сказке. А ты должна восстать из пепла, возродиться, всё забыть и жить дальше... Подумаешь, говорит, сказал что-то в сердцах, даже не помню, что. Ты – жена, женщина, должна понимать, прощать, забывать... Слова – это не дела. Это мелочи!

## ВСЯ ЖИЗНЬ СОСТОИТ ИЗ МЕЛОЧЕЙ!

Из этих мелочей, как из кирпичиков, складывается дом. Тёплые кирпичики – тёплый дом. Ледяные – ледяной. Говорит, что я злопамятная. А я не злопамятная. Мне больно от слов, как от розог. Словами можно убить. Я уже давно полуживая... – твердила Лёля.

И сейчас ей было больно вспоминать об этом, хоть и прошла целая вечность, забравшая с собой пережитые страсти, горькие обиды, сладкие примирения, оставившая приобретённую мудрость, нерасторжимость страдальческих уз, скреплённых искренней привязанностью двух таких разных, но породнившихся людей, у которых в главном-то и не было серьёзных разногласий. Долговременный брак, измучил обоих супругов нервозностью отношений с мучительным притяжением, болезненной зависимостью друг от друга и бесполезными попытками разорвать непреодолимые узы, на что не решалась ни одна, ни другая сторона. Не изменяя своим принципам, они со временем слились в единое целое, научившись щадить друг друга от стычек и яростных сопротивлений, сберегая покоем остатки здоровья. Да чтобы дойти до этого, надо пуд соли съесть вместе.

По сей день нерадостные события она предчувствовала нутром. А когда они, родимые, входили в дом, начинала судорожно от них отбиваться, метаться, делать много лишних движений, лишь бы что-то делать, делать, делать... Тёмная сила, насосавшись отчаяньем, отпустила её душу на покой на пару дней, не более, за которые Лёля успевала выстроить в мозгу свой карточный домик счастья, безжалостно сдуваемый этой силой на третий день. Всё повторялось. Лёлькино упорство её забавляло. Она, эта сила, вроде как хочет её переделать, чтобы вместо тёплой плоти и трепетной души ощутить в своих когтях лёд эгоизма и равнодушия, а ещё лучше, чтобы она стала такой же – толстокожей, хитроумной, жестокосердной и рациональной. Такой же, как некоторые, оставляющие на земле след устрашающими мраморными и гранитными кладбищенскими плитами с увесистыми памятниками, уподобляя себя фараонам, замурованным в пирамидах. Вот дерево живёт на земле не для себя – для всех: птиц, зверей, людей. А потому и после смерти оно сохраняет тепло – пнём, сухим стволом, срубом для дома или поленом.

Несмотря на глубокие и мелкие трещины не разбитого в пух и прах брака, жизнь продолжалась в естественном русле судьбоносной реки.

– Господи, сколько во мне живых, терзающих душу, воспоминаний! – думала Лёля. – Когда же они, наконец, растворятся, сотрутся сами по себе из памяти?

Протечки сопровождали её при замужестве, как ниспосланные свыше испытания. Что-то, как ей казалось, после свадьбы, мешало её счастью. Потому она после бракосочетания, потрясшего многих в КБ, в том числе и её шефа, сразу уволилась, вернее, сбежала от многочисленных любопытных, порой сочувствующих и даже недоброжелательных глаз. Но спокойнее не стало.

Лёля окунулась в новую сферу советской богемы.

## РАДИОКОМИТЕТ

где она проработала пять беспокойных, интригующих лет фонотекарем, приблизил её к интеллектуальной творческой элите, необычайно раскованной и свободомыслящей при неформальном общении и абсолютно диаметрально противоположной, молчаливо-равнодушной, колеблющейся и амбициозной в официальной публичности. Ребёнка в браке Павел не планировал, попросил обождать до лучших времён. А потому Лёлька погрузилась с головой в новую работу, приобретая опыт общения с непредсказуемыми яркими творческими людьми, поражавшими её эрудицией, манерой поведения, неординарностью мышления и стилем жизни. Лёлька просто очумела от близости и полусветского общения со шлягерными гениями. Её непосредственность и миловидность была замечена экзальтированными мужчинами и принята ревнивым женским сообществом, не видящим в ней опасности, более того – выгодно смотрящимся на её фоне. Молодой, серьёзный, невзрачный на вид звукооператор в огромных тяжёлых очках, с маленькими глазками-буравчиками, уменьшенными мощными линзами до серых острых точек, настойчиво крутился вокруг Лёльки, предлагая ей пройти курс обучения с ним для переквалификации на звукооператора, чтобы работать на пару в студии звукозаписи, в связи с дефицитом специалистов в Радиокomiteте. Лёлька была на седьмом небе от счастья до той поры, пока не открылся его истинный интерес, вернее, условие переквалификации. Без лишних слов он внезапно закрыл дверь маленькой душевой фонотеки, выключил свет и схватил стоящую на стремянке Лёльку сильными цепкими руками, и она чуть не грохнулась от испуга на пол. Руки оператора, как ей показалось, были сильны и точны, как у опытного насильника. Лёлька, сгорая от стыда и боясь, что их услышат и подумают чёрт-те что, потеряла дар речи. Её твёрдый молчаливый отпор резко охладил пыл потенциального учителя. На этом карьере звукооператора закончилась. Творческая атмосфера свободомыслящих людей искусства стала приобретать в глазах Лёльки новые оттенки сомнительных полутонов, к красивым речам и заманчивым предложениям она стала относиться настороженно.

А тут ещё перед Новым годом уговорили её поездить на машине в образе Снегурочки с Дедом Морозом, басистом из хора радио, по адресам сотрудников. Целую неделю каждый вечер она пропадала вне дома, разъезжая с шальным, поддавшим коллегой, который говорил смачным низким клокочущим басом, врывался в дома с грохотом, пугавшим малышей, прятавшихся от него по углам, под кроватями или за спинами родных. Лёлька предложила поменять план сценария – первая заходила в дом Снегурочка, общалась с детьми, настраивая их на волшебную встречу с Дедом Морозом, которого при встрече держала на определённой дистанции от малышей. И только благодаря Лёлькиному чуткому общению с детьми на интуитивном уровне, её неожиданным психологическим приёмам и знакам, отвлекающим внимание, у них получалось выполнить свою основную задачу – вручить детворе долгожданные подарки, судорожно всунутые родителями в «волшебный» мешок в прихожей. После чего распаренный горячительными напитками, по-настоящему тающий, со стекающими по заgrimированному лицу каплями пота, Дед Мороз, выпивал свои очередные сто грамм за закрытыми дверями кухни. Заваливаясь в автомобиль, с каждым разом ненароком он садился всё ближе и ближе к напряжённой Снегурочке, дыша на неё омерзительным многодневным перегаром. Посетив последний адрес недельного вояжа, он скинул своё морозовское обличье перед машиной, запел на всю ивановскую густым басом арию Мефистофеля «Люди гибнут за металл...» и с трудом засунул своё, переполненное алкоголем, тело в автомобиль, при этом зачем-то сняв сапоги. Пыхтя как паровоз и источая вонь от потных ног, он, как само собой разумеющееся, подмял под себя Снегурку, уже ожидавшую нечто подобное и приготовившуюся дать достойный отпор. Лёлька уткнулась руками в его мокрую физиономию, сорвав при этом приклеенные усы, и залепила неожиданную громкую пощёчину, после которой он мгновенно обмяк и захрапел у неё

на плече. Водитель хохотал, вызвав и у неё спасительный смех и мгновенно улучшив настроение.

Через какое-то время ей неожиданно предложили стать участницей делегации из директоров заводов и партийных работников от Ленинграда, направленных для нормализации отношений с Чехословакией после событий «Пражской весны» 1968 года. Для членов делегации поездка была бесплатной. От радиокомитета, как оказалось, требовалось дать пару молоденьких симпатичных девушек невызывающего вида, для разбавления светлыми оттенками легкокрылой молодости мрачноватой группы солидных в чёрных костюмах руководителей-хозяйственников небольших заводов и фабрик Ленинграда и области. Претендентки рассматривались в кабинете председателя Комитета Лапина при закрытых дверях. Лёлька, не разбирающаяся в политике и не читающая газет, узнающая случайные официальные известия о событиях в стране, мгновенно улетающие из её памяти, по радио и телевидению, была удивлена. Но на таких условиях, при мизерных семейных доходах, отказаться от путешествия, манящего неоновым сиянием фильма «Огни большого города», было невозможно. Лёльку причислили к скромным и невызывающим молодым особам, на фоне тех, кто порой вульгарно сверкал яркими красками в коридорах Радиокомитета. Она часто слышала в буфете и кулуарах возмущённые голоса актрис, певцов, актёров и режиссёров. Многие готовящиеся передачи отменялись, подвергались тщательной проверке на предмет идеологической чистоты. В прямом эфире был прекращён показ Клуба весёлых и находчивых, снята с эфира популярнейшая программа «Кинопанорама» с ведущим Алексеем Каплером.

Лапин ввёл систему запретов. К примеру, не разрешалось появляться на экране телевизора людям с бородами. Мужчинам-ведущим было запрещено выходить в эфир без галстука и пиджака. Женщинам не разрешалось носить брюки. Лапин запретил показывать по ТВ крупным планом певицу Аллу Пугачёву, поющую в микрофон, так как счёл это напоминающим оральный секс. Интересно, где он мог это видеть. Однажды на Лёлиных глазах при входе в Радиокомитет постовые милиционеры не впускала певицу, опаздывающую на запись в студию, так как она была одета в брючный кримпленовый костюм, мечту всех женщин страны. Разгневанная певица была в отчаянии: «А без брюк меня пропустите?!» – с вызовом спросила она. «Пропустим. Без брюк можно», – дружно ответили они. Она тут же сняла с себя брюки, перекинула через плечо и гордо прошла в Комитет в пиджаке еле-еле прикрывающим её обворожительные бедра, выставив на обозрение стройные женские ноги в безупречных импортных колготках. Милиционеры не могли оторваться от её ног, пока они не исчезли из их поля зрения. Лёлька шла за ней, с восторгом наблюдая, как она проходила по коридору, размахивая брюками словно флагом, повторяя каждому встречному: «В штанах входить нельзя, а без штанов – пожалуйста! Да здравствует советская демократия!» Годы «оттепели» растворялись в новом времени жёсткой цензуры, запретов, пахнущих самодурством и двуличием непотопляемой номенклатуры.

В Чехословакию Лёльку собирали всем немногочисленным женским коллективом фонотеки вскладчину. Подобрали достойный деловой костюмчик от одной коллеги, вечернее платье – от другой, сумочку – от третьей, не забыв вкрупную складной нарядный японский зонтик. Продумали шарфики, аксессуары, косметику. Дали советы на все случаи жизни. Дома особых восторгов со стороны Павла не наблюдалось, более того, он будто задумался о чём-то, осторожно поглядывая на порхающую от радости Лёльку.

Все мужчины делегации были на одно лицо, с одинаковыми хмурыми выражениями, одного солидного возраста и разъевшегося телосложения, в одинаковых чёрных костюмах и плащах, с отпечатками несмываемого достоинства бессменных руководителей. Две молоденькие особы, побаивающиеся рот открыть в их присутствии, при всём желании не могли смягчить своим щебетанием такую тяжёлую артиллерию, не замечавшую их в упор.

Зато при приезде в Чехословакию, при встрече делегации основное внимание почему-то уделялось им, девчонкам, которые искренне восторгались всему и удивлялись, как дети, новой жизни, представшей перед ними волшебным сном. Каждый рабочий день, начинающийся в шесть утра, они посещали фабрику или завод. Это было непривычно и утомляло сонных русских. Зато работники во второй половине дня были свободны. Все магазины работали до шести вечера, а с девяти вечера жизнь в городах погружалась в сон. Только будучи в Чехословакии, Лёля невольно начала вникать в царившую тогда, сложную политическую обстановку, открывала для себя тайные завесы истинных событий.

Побывав на приёме в одном из небольших заводиков, на утро им сообщили, что в качестве протеста против приёма русских там подожгли административный корпус с вывешенным красным флагом. На другой фабрике во время торжественного обеда в фабричной столовой, кто-то бросил в окно камнем, и их срочно вывезли в гостиницу. Вечерние прогулки по городу были не рекомендованы, более того предупредили, чтобы никто не говорил на улицах по-русски. За это могли побить и даже убить. Лёльку эти опасности только притягивали, маня острыми ощущениями. Как только по вечерам солидные директора после деловых встреч группой отъезжали на культурный отдых – в основном в бары со стриптизом, Лёля с подружкой тихо выходили из гостиницы и, очарованные красотой знаменитого средневекового Карлова моста через реку Влтаву с освещённой в ночи скульптурной галереей из тридцати статуй чешских святых, отправлялись по нему на пешую прогулку по Праге. Бродили по ярким проспектам, запоминая дорогу обратно, молча взирали на волшебные витрины, над которыми взмывала в небо подсвеченная готика, от которой кружилась голова. Обратно шли так же по мосту, стараясь незаметно прикасаться к освещённым скульптурам руками, считая каждый шаг здесь подарком судьбы. Несколько лет Лёле снилась Прага со святыми на Карловом мосту.

Отношение старого поколения к русским, как к спасителям, было понятно. А вот злобная ненависть и агрессия, исходящая от молодёжи, не укладывалась в голову и пугала. И это несмотря на то, что русские вместе с чехословацкими войсками бились против гитлеровцев. Одного Лёлька не понимала – зачем русские вводили свои войска, хоть и с мирными целями. Зачем пришли, зачем разбрасывали с самолёта листовки с разъяснениями о мирных намерениях. Ведь русские были непрощенными гостями, которые стали распоряжаться в чужом доме. А кому это понравится?

При встречах большая часть людей вспоминала, как хорошо жилось при социализме. Приводили свои аргументы: всё было дешевле – масло можно было купить за десять чехословацких крон, литр бензина – за восемь, пиво – за две с половиной кроны; у всех всё было одинаково, никто никому не завидовал, все получали по три тысячи крон на фабрике; у каждого была работа и уверенность, что не уволят; еда была отличной; дороги были безопаснее; не было бедствий; пенсии были больше и вообще всё было лучше – были молодыми.

Что на это скажешь? Хорошо быть молодым и здоровым при любом режиме. Но так ли это было на самом деле, простому человеку не узнать и не осознать, ему бы успеть приспособиться к той жизни, какая есть. Это уже немало.

Это потом она прочитала о «Варшавском договоре», об активности правых сил в Чехословакии, о борьбе за свой оборонительный пояс, о вводе войск стран-участниц Варшавского договора, в том числе Советского Союза и ГДР, и много чего о том, чего она не видела, что укладывалось в её мозгах отстранённо на уровне школьного курса истории древнего мира.

После возвращения Лёльки из Чехословакии, Павел, обмозговав легковесную Лёлькину жизнь с западным уклоном, понял, что пора, пока не поздно, приземлить Лёльку, вернуть в настоящую действительность, сделать матерью, привязать к дому, и после декретного отпуска выдрать её с потрохами из этой творческой разлагающей клоаки Радиокomiteта, ломающей психику наивной восприимчивой душе. Это и произошло.

После рождения сына для получения достойного заработка по настоянию отца – кадровика со сталинской закалкой и тюремной осторожностью – она пришла на крохотный заводик местной промышленности, где он и работал. Её знания чертёжницы оборонного предприятия были оценены на уровне инженера III категории конструкторского отдела нестандартного оборудования, как потом поняла Лёлька, оснастки для отливки пластмассовых изделий народного пользования. Там она прошла тeneвую школу карьерного роста брежневских времён: с открытыми пороками, возведёнными до негласных норм, с унижительными подачками, взятками, лицемерной преданностью, враньём и подтасовками, общепринятым пьянством и завуалированным литьевым участком для подпольной продукции, на который она случайно наткнулась, организуя социалистическое соревнование. Отец всё знал и хотел научить Лёльку правильно жить, вернее, выживать в этой прикормленной хозяином, директором завода, затравленной стае, где по его указанию могли загрызть сворой любого. Хозяин кормил все близлежащие контролирующие органы, включая партийные. Его боялись, лакействовали, задабривали и давали взятки своими «борзыми щенками». После ссоры отца с директором, бывшим другом, Лёлька подверглась всевозможным публичным репрессиям на общественном поприще, принимая на себя гнев за уволившегося вовремя отца от разъярённого плутоватого директора с бегающими холодными глазами. Но свора к ней благоволила и потому не загрызла. А главный инженер, умный, но спившийся человек, сочувствуя ей, не афишируя, в период замещения директора тихо перевёл её в вышестоящую контору, в головное КБ.

А в той конторе, как позже выяснилось, работала дочь этого пресловутого директора – хрупкая женщина-подросток, с затравленными испуганными глазами, похожими на отцовские, но только несчастными. У нее была тихая неприметная семенящая походка восточной женщины с опущенной головой, смотрящей в пол. Что-то болезненное таилось в ней. Оказалось, она пила. Лёлька, уже вершившая общественные перевороты, стояла за неё стеной, не давая сокращать и увольнять. Она её жалела, представляя, как отец ломал её душу, боялась обидеть её, чтобы не выглядеть мстителем за своё унижение, брала на общественные поруки, чувствуя, что она гибнет, продлевая насколько возможно период до её духовного угасания. Через несколько лет на Невском проспекте к ней подошёл состарившийся директор заводика с большой благодарностью за дочь и нескрываемой ненавистью к Лёлькиному отцу, который доносками снял его с работы.

Именно на этом заводике Лёлька ближе узнала отца, который открылся ей во всей своей неподдельной исковерканной сути, в своём, оставшимся в нём на всю жизнь, голодном унижительном страхе, перемолотом страшной действительностью советских тюрем и лагерей, близость к которым даже со стороны обвинения, изломала его психику.

Однажды на работе он тихо сунул ей в руки какой-то пакетик, с просьбой унести домой. Развернув пакетик дома, она увидела женские часики на золотом браслете. Отец просил только об одном – не надевать их на работу. Лёля вспомнила его принципы – брать, что плохо лежит, и испугалась. Он явно нервничал, говорил, что нашёл и просил её оставить себе. Часы отравляли её настроение, и она отдала их в комиссионку. «Скорее всего, кто-то из пожилых женщин надомного ручного труда обронил и не заметил сразу. Отец не мог устоять перед таким соблазном, подобрал и промолчал», – думала Лёля. Много лет она сожалела о том, что не помогла ему советом и делом вернуть чужую вещь и снять тяжесть с его души. Она жалела его до слёз, простила за развод с мамой, приняла его второй брак, не отходила во всех больницах и похоронила рядом с мамой по его же желанию через десять лет после её смерти. Двадцать пять лет Лёля заботилась о его второй бездетной жене, претившей ей своим вздорным характером, мешанским куцым осуждением всего белого света, злобной агрессивностью и болезненной беспочвенной подозрительностью к окружающим её людям.

Лёлька, отсидев положенный государством срок дома с Костиком, уже приступив к работе, благодаря поддержке и заботе Павла о сыне, вырвала себе право на вечернее обучение

сначала в Индустриальном техникуме, потом в двух Финансовых институтах, что позволило ей иметь достойную работу, с вечными общественными нагрузками в придачу, что серьёзно злило мужа. Несмотря на его сопротивление, в доме постоянно жили кот и собака, которую ему приходилось выгуливать после работы.

## ОБИДЫ СМЫВАЛИСЬ

бурлящей жизнью каждого из них, закрытой друг от друга непроницаемыми дверями. Любимый сын был основным стержнем их совместного существования, приносящим им гордость, понимание смысла и важности семейной жизни.

В период перестройки Лёлька прошла огонь, воду и медные трубы, возглавляя без освобождения от основной работы профсоюз головной конторы местной промышленности, своего рода её мозгового центра, где зарождались новые идеи, разрабатывалась техническая документация и даже имелось своё экспериментальное производство. Она играла с полной верой и самоотдачей в дикую демократизацию выборности руководителей, коллективно снимая и выбирая директоров, похожих друг на друга, как братья-близнецы, подпадая за это под незаконные сокращения, райкомовские и обкомовские проверки с представителями фискальных органов, вскрывавших профсоюзную казну, безрезультатно выискивая криминальные расходы с отчётами и протоколами. Народ ей доверял до такой степени, что все члены её избранного профкома, выбирались безусловным голосованием и в партбюро, секретарь которого просто поплыл от нахлынувших чувств к ней после рокового танго на одном из вечеров. Все были молоды, на подъёме и влюблённости летали в служебных комнатах, пробивая своими электрическими зарядами толстые стены и седые головы. Лёльку боялись все директора. Её дёргали, терзали, выказывали недоверие, таили ненависть, что только поднимало её авторитет. Она стала уставать от всей этой нездоровой жизни, а главное стала жалеть этих директоров, живых людей, попавших в жернова перестройки, смена которых не приносила ни качественного прорыва в пополнении заказов, ни новых контрактов, ни прогрессивного технического обеспечения. Всё как-то само по себе разрушалось, расплзалось, утрачивало стабильность без надежд на будущие перспективы.

Бедные директора стали ей даже сниться:

*Большой директорский кабинет в новом не обжитом холодном производственном корпусе. Перед ней внушительный полированный стол с приставкой для канючащих посетителей, трусливых докладчиков и угодливых доносителей. Начальственный стол выглядел как устрашающее лобное место для кары за ненадлежащие деяния, неосторожные слова и протестные мысли.*

*Слева от стола – огромное окно, а впереди в капитальной наружной стене выше человеческого роста выдолблено нелепое узкое и длинное окошко, похожее на щель огромной амбразуры, в которой виднеется полоска неба, с характерным для Петербурга изменчивым цветом, отражающим состояние хозяина кабинета, её шефа.*

*Шеф... небольшого хрупкого телосложения. Чуть сутуловат. Средних лет. Слабые с постоянно влажными ладонями безвольно висящие вдоль тела руки. Карие подозрительные и настороженные глаза. Узкие, мокрые губы с блуждающей полуулыбкой над тяжёлым квадратным скошенным подбородком. Попал он к ним, как кур в ощиц, в самом начале яростной дикой перестройки. Повяло ветром звериных надежд. Пелена затмила глаза и умы. Люди шептались по углам, группировались и кричали на бесчисленных собраниях. Вот он, кровный враг, – блатной перепуганный директор. И она, как обманутая Жанна, под профсоюзным знаменем справедливости и защиты, возбуждаясь воплями своего доверчивого народа, под слабым щитом обезволенной павшей партии, возглавляет законное возмездие для тайного свержения и показательной казни.*

*Теперь она здесь, в пустом многострадальном кабинете. Шеф переизбран. Странная безрадостная пустота разрастается бессмысленностью от содеянного. Тупо смотрит на чистый стол, за которым незримо витает его тень, отделившаяся от него после публич-*

*ной казни. Ощущение, что он только-только вышел из кабинета. Случайно поднимает глаза от стола к узкому длинному окну и видит удручённую согнутую в нестерпимом горе фигуру шефа, медленно проходящую вдоль окна. Ног не видно, голова опущена, руки как плети болтаются на плечах. Под левой рукой знакомая чёрная министерская кожаная папка с хаотично набитыми деловыми бумагами, которые выпадают из неё, разлетаясь по ветру. Вдруг её пронзило, он идёт по воздуху, ведь кабинет находится на четвёртом этаже. Он стал лёгким и невесомым, или это они отяжелели и вдавили здание в землю, так, что четвёртый этаж стал первым. Ещё немного, и он уйдёт в бесконечность, оставив за собой щемящую пустоту, наполненную печалью запоздалой человеческой мудрости.*

В скором времени наступил полный крах. Государственная система местной промышленности со всеми специалистами, заводиками, цехами и надомниками-инвалидами была ликвидирована, как больной нарост, последовала судорожная приватизация всех объектов ловаками и передача изготовления товаров народного потребления в загнивающие оборонные предприятия. Местная промышленность повсеместно стала раздробленным и спонтанным частным сектором, теряющим рыночные ориентиры и спасающимся сдачей в аренду опустошённых производственных площадей.

Чем и воспользовалась Лёля, получив для нуворишей из Тюмени помещение в аренду под крышей последнего этажа на Невском проспекте для создания маленькой страховой компании. За это в трудные безработные времена ей предложили должность заместителя директора, позволив набрать своих профессиональных людей и поставив цель – с нуля организовать страховую компанию. При этом в курс всех финансовых дел, связанных с сомнительными активами, Лёлю не ввели. Она умела убеждать и привлекла к работе настоящих бескомпромиссных профессионалов старой закалки, благо знакомств было много. Но, как открылось позднее, никаких активов привлечено не было, наработанные с трудом скромные средства уходили в карман ненасытного юного директора с авантюрными наклонностями и тягой к сладкой столичной жизни.

Весь крохотный женский коллектив носился по городу, как угорелый, чтобы хоть как-то свести концы с концами, застраховать предприятия, которые никак не могли понять, зачем им это надо. Всё же некоторые из них поддавались и страховались, надеясь, что богатая тюменская нефтяная земля поддержит их в трудную минуту. Сотрудники и Лёля жили от зарплаты до зарплаты на нервах, радуясь и этому, так как в годы кризисной перестройки на больших предприятиях народ месяцами был на голодном пайке. Лёльке повезло – на последнем вираже существования этой компании её случайно пригласили самостоятельно создать вторую новую страховую компанию со своими реальными денежными активами, хоть и сомнительного происхождения. Она согласилась. Надо было выживать.

Работа, постоянное вечернее обучение, общественная занятость поглощали её с головой в ущерб семейным интересам. Хотя Лёлька носилась с набитыми продуктовыми сумками с работы в институт, а потом домой, чтобы ночами что-то приготовить, она понимала, что этого было недостаточно. Павел, бурно выражая недовольство, всё-таки не подводил её в главном, а главным был сын Костик. Надо отдать мужу Лёли должное, он мог быть уступчивым и мягким, если его погладить, как маленького по головке, представив убедительную доказательную базу для своих просьб. Он, как многие мужчины, нуждался в похвале и женской лести. Но основное, что она поняла гораздо позже, он добивался от неё той материнской опеки, которой лишился, уйдя из-под крыла властной матери.

– Вот так с годами выкристаллизовывается то основное, что было размыто волнами бурлящего времени, развеяно по ветру эгоистичной молодостью, летящей семимильными шагами к манящему свету честолюбивых замыслов над привычными мирными днями жизни, которые и есть счастье, – задумывалась Лёля, смотря на свою жизнь с высоты достигнутой мудрости.

Ей везло на хороших людей, благодаря которым она прошла отличную коммерческую школу, работая в трёх питерских банках. Привлечённая своими вузовскими преподавателями к кредитной работе, она с трудом постигала непостижимое для неё банковское дело, из-за которого у неё выработалась стойкая оскоми́на от денег. За каждый просроченный и невозвратный кредит, выданный Кредитным комитетом, она переживала, как за свой. Деньги стали для неё ненавистными холодными цифрами, теми страшными костяшками напольных счетов начального класса, перед которыми плача она стояла в детстве. Зато её интуиция не ошибалась в прогнозах по выдаче и возврату кредитов организациям, с представителями которых она впервые встречалась. К ней прислушивались, если клиент приходил с улицы. Но игнорировали её отрицательные прогнозы, если клиента спускали от руководства. На то, видимо, были свои причины. За правильные прогнозы она с улыбкой просила компенсацию от руководства – направлять небольшие средства из прибыли на благотворительные пожертвования в приюты для бездомных животных, подшучивая: «Хорошо, что собаки и кошки не приходят за кредитами, а то бы я им всё отдала...» И ей не отказывали.

Пребывание в банке стало для неё мучительным испытанием и проверкой на прочность. Чтобы снять с себя этот груз, она стала выплёскивать на бумагу короткие рифмы своих состояний, освобождаясь от них. Так родились её банковские записи, в которых наряду с датами, цифрами и делами вклинивались ежедневные спонтанные строки: *«Стиснув зубы, сжав кулак, я иду в родной гулаг», «Город тихий, снег и слякоть. Путь всё тот же – мутный, в мякоть», «Сегодня было, как вчера, – людей томила череда, уныло сердце билось, и всё из рук валилось», «Всё нереальное возможно, когда внутри тревожно», «Канал Обводный – брат мой сводный, с душою чистых вод средь бурых нечистот», «Слабеет плоть. Желанья тают. Понятней вороны вещают», «Просочились через кожу мысли грешные прохожих», «Оборванные сны – разорванные нити», «Деньги делают из пота, из отравы и крови, из стяжательства до рвоты, от безумной пустоты», «Я подаю за боль, враньё. Мне Бог – за веру в вороньё», «Я живу не с человеком – с оцетинившимся веком», «Город – мясорубка души. Зона. Каменная глушь», «Раздетый город сер и мрачен под небом цвета неудачи», «Тикают часы как счёты – вечность сводит со мной счёты»...*

В снах к ней приходила другая,

## СОКРОВЕННАЯ РЕАЛЬНОСТЬ

скрываемая от чужих глаз, неразрывная с действительностью, в которую она целиком была погружена.

*Так во сне она увидела в воскресный день старый дворик своего дома, а рядом, в соседней парадной, неожиданно обнаружила свой маленький банк, в котором работала. «Теперь можно просто перебежать на работу из парадной в парадную без верхней зимней одежды», – радовалась она. Как ей надоело незаметно входить и уходить из банка, чтобы важные дамы, врывающиеся и выплывающие из банка в шубах, не видели её одежды. Обидно, что в воскресный день назначили совещание, на котором она опять будет находиться в напряжении, как в школе, дрожа на уроке с неприготовленным домашним заданием. Пора идти в банк. В голове настойчиво вертятся придуманные начальными строчки стихотворения: «Бесконечно долгожданный первый чистый робкий снег...» Ах, не забыть бы их до первой выпавшей свободной минуты.*

*Прибежала на совещание. Все, как всегда, торжественно прекрасны. И тут она посмотрела на свои ноги и ахнула, на них были надеты старенькие истрёпанные летние чёрные мокасины. Ей стало неловко, и она отпросилась сбежать домой переобуться, хотя знала, что дом пуст и надеть ей будет нечего.*

*Вот она подходит к своей парадной и видит перед собой на огромной крутой гранитной ступеньке лестницы в платье её внучки маленькую девочку лет пяти, которая тихонько плачет. Хрупкая фигурка беззащитно вздрагивает от рыданий и жалобно хлопает сопливым носиком. Она бережно подняла девочку на руки, со щемлящей в сердце нежностью прижала её маленькое тельце к груди и стала гладить её по спинке, со словами утешения, слетающими с уст и звучащими, как знакомый до боли родной голос её матери. Девочка притихла и успокоилась. Подошла молодая мама, которой Лёля передала ребёнка и взволнованно наговорила тысячу полезных советов. Они ушли.*

## **Конец ознакомительного фрагмента.**

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.